

Российская Академия Наук
Институт философии

В.П. Перевалов

Тайны очевидности и удивления дары

Москва
2002

УДК 300.38
ББК 15.56
П27

В авторской редакции

Рецензенты:

доктор полит. наук *И.Ю. Залысин*
доктор филос. наук *М.Т. Степаняц*

П27 Перевалов В.П. Тайны очевидности и удивления дары. — М., 2002. — 179 с.

Из искр удивления тайнами очевидного, привычно знакомого, но скудно познанного и скупое переживаемого, рождается и живет огонь человеческого знания.

Самой удивительной тайной является человек, дар его созидания, гений творчества космического блага.

ISBN 5-201-02096-8

© Перевалов В.П., 2002
© ИФРАН, 2002

СКАЗКА ДЕТСТВА

Какой же русский не любит сказок Пушкина?! Их знают с детства и помнят всю жизнь, с ними спешат познакомить родители, бабушки и дедушки своих детей, внуков и правнуков. Этот дар детства всегда с нами.

Спроси нежданно-негаданно о чем сказка, например, о рыбке золотой? Тебе ответят тут же, ответят правильно – с большими или меньшими деталями. Почти все уверенно заявят, что сказка о жадности старухи: прожив долгие годы в крайней бедности, она получила благодаря удачному улову старика возможность удовлетворять наилучшим образом все свои желания – и самые необходимые житейские и самые престижные, лишь царицы вольной доступные, светлости ее пригожие. Быстро, слишком быстро сменив ветхую лачужку на дивные хоромы дворца царского, «новая русская» не удержалась в пределах дозволенного естественным, природой – стихийно-космической и человеческой – и запросила невозможного. И результат был горек и печален: прежнее разбитое корыто. Ныне б не было ни землянки, ни берега, ни моря, ни старика со старухой: глобальная катастрофа, планетарное уничтожение жизни, явившееся из благих желаний, в коих скрыто невозможное.

Мораль ясна: не будь жадным, не зарывайся в невозможное. Без труда не вылавливай рыбок из пруда, нет без него радости и отдохновения в удовольствии, смирения коней сих борзых.

Приблизительно такой урок выносят красные девицы и добры молодцы из замечательной сказки Александра Сергеевича. Дай бог, чтобы они следовали заветам народной мудрости, столь же замечательно, как он ее выпестовал в языке (русском).

Что еще сказать? Вроде бы все. И что-то не отпускает, манит, плещет и играет, как рыбка золотая в Окиян-море, кличет в шуме волн каким-то тайным, глубоким смыслом. Вновь вчитываешься в текст, упиваешься наслаждением каждой фразы, строим общего замысла, динамикой повествования, акцентируешь некоторые черты и детали. — Так я не сразу усмотрел противоречия между приведенной выше пословицей и обжорством желаний героини.

Старик ловил в необъятном, за так, кроме шишек, море, старуха же вовсе не ловила; конечно, она помогала рыбачить мужу (кстати, Пушкин не называет героя «мужем», но лишь стариком; а старуху как? — посмотреть), занимаясь своими делами по дому, но чем «круче» взлетали ее все более распалаемые гордыней мечты, тем меньше она заслуживала вознаграждения; а уж в последний раз и вовсе не стоило исполнять ее явно безумный каприз. Что было бы если старик не пошел? Лишился бы жизни но ради блага царствующей вольно жены? Иль страну стоило освободить от проклятой, совсем рехнувшейся бабы, ткнув в неисполнимость ее последнего (по счету) желания?

Подобные суждения способствуют укрупненному рассмотрению отдельных моментов и линий сказки и вместе с тем без путеводного клубочка уводят в сторону от ее целостного восприятия. Правда, и тут не без резона: россыпи догадок как бы начинают новую историю, отличную от этой. Неуступчивость в поисках спрятанного смысла известного приносит первую находку — осознание того, что есть тайны очевидные, но есть и тайны очевидности. Здесь возможность начала удивле-

ния повседневным. Выученное наизусть, но твердившее о далеком, вроде начинает приближаться в перспективе сказа о тебе, о неизбежной были всех и каждого.

И снова закидываешь невод в волнующую(ся) тайну золотой рыбки. И снова вытаскиваешь то тину, то траву морскую, то пустоту, то живность какую – ведь и есть что-то надо, чтобы жить дни и годы. Но нет разгадки. И ворчишь, и серчаешь на себя, и в гневе мятёшься на скудость свою и убогость талантов, сил и умений. Вдруг чуешь нутром: поднимается, липко облегает и засасывает унылость, шипит сомнение злое: «да есть ли вообще загадка?»

Есть, есть – сопротивление в руинах, катакомбах: держи удар. «Не быть не может? Пусть есть. Да стоит ли распинаться в муках крестных, коль нет прибýtка от разгадки? Призрак, мизер». С усмешкою кривою циник говорит. – «Миг жизни краток. Лови все враз, с икоркою очень даже смачно...» В ответ... Его, быть может, наглость пробудила, а может долг перед собой за тратупорчу понапрасну скольких лет? Иль распознавание в довольстве поросячем старухи жлобной нашей? В ответ выходишь снова на границу суши с морем. Она свежа. Она все та же в непохожести игры с собой и тобой, все так же чертит и стирает линию судьбы, в которой скрыт – абсурдна вера – не только «опыт, сын ошибок трудных», но и зигзаг удачи, «случай – бог-изобретатель».

С начала, все с начала. Нет, нет – с начал начала: с названья сказки до того, как «Жил» начнет ее движение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Стой. Замри. Отверзни очи сердца и ума. Именно имя имённо. Ужель свершилось? Поверить не могу. Как громом поражен. Как просто ларчик открывался. Оторопел от удивленья. Оно меня не покидает, напротив, полнится восторгом чудным. Все гениальное так просто и живо так! И тайна очевидна, тайность тает в слове верном, одном-единственном, к месту и ко времени сказавшем о сути дела. Мощь собрана и созиданье закипает.

Наверняка, ты догадался, любознательный читатель. Рад, что моя подсказка избавила тебя, хотя бы отчасти, от мучительных терзаний. По правде, после найденной разгадки уже не так жалею я о тягостных тревогах, о блужданиях и приключениях ума: мука перемололась, испеклась и хлеба черного краюха сладка не так была мне без седьмого пота соли. Я им с тобой от сердца поделюсь, вкушай. Предложишь что-нибудь свое – приму с благодарением угощение друга. Всем в истине высокой хватит места и нету там неравных званий, нет обид меж теми, кто ранее пришел, кто попозжее. По-мощь – мощи корень жизни древа. Желанье было б с рыбкой говорить.

Начнем с вывода. В названьи сказки нет старухи, ее выводим из героев главных. Она, коль имя славит вещь, утица яркая, да утка подсадная. Всех завлекать от мала до велика ее задача, вести и к сути подвести... И точно подвести. Тебя, тебя, мой друг читатель, всех сколь угодно многих мимо сути провести, кто заглядится на нее, и завести удачно в свой тупичок – в землянку, избу, терем иль дворец, но в общем – к корыту. От старухи до прорухи.

Дальше – больше: нет в имени имения – упоминанья, что рыбка непростая – золотая. Чешуя любой живой рыбки отливает, если не золотом, то золотистым серебром. Убрав прилагательное, которое неразрывно срастется с существительным после первого же прочтения сказки, Александр Сергеевич, вероятно, хотел неявно и ненавязчиво подчеркнуть, что не все что блестит, то золото. Или лучше: есть золото простое, «самоварное», а есть непростое, чудесное. Драгоценность главной героини отнюдь не в чешуе. Среди несметных полчищ немых рыб наша – одна говорящая. Современные ученые, ихтиологи, установили, что рыбы разговаривают между собой. Это не колеблет нимало правду сказа, но лишь подчеркивает ее с научной точки зрения. Те говорят на своем, рыбьем языке. Наша же рыб-

ка владеет языком человеческим, всемирным. Поэтому она не только владычица морская, но и суши повелительница. Не исключено, что в золоте ее укрощен огонь, а коль речет она речи мудрые, то и воздух, смерть несущий ее морским подданным, ей подвластен. Тогда Она — Царица всех четырех стихий, Сильнее самого Зевса! Ибо громовержец и молниеметатель не мог жениться как раз на морской богине, чтобы не родился от сей страсти сын, его превосходящий по силе, более заслуживающий трон олимпийский, чем самый мощный и грозный в справедливости Царь богов и людей. Что для волнующегося с незапамятных, с исконных времен Окиян-моря удар грома и молнии? — Ничто. Сколь бы яростно и бесчисленно ни летели в него перуны с неба, разрушающие горы, испепеляющие дубы, волны проглотят их с легким шипеньем и вновь будут играть с собой, как и прежде, без всякой цели, кроме наслаждения от вечного танца вприсядку.

Маленькая рыбка — сердце самой Природы, золото ее вечно здоровой жизни.

А что же рыбак? Чем этот старик заслужил то, что поэт и мудрец сделал его главным героем, поставил в имени сказки (конечно, только на время действий в ней) впереди самой златой рыбки?

Читаем внимательно, т.е. внимаем, имаем с чувством, с толком, с расстановкой. Один раз под моим водительством, а потом каждый своим разумением, дошностью, кругозором, спорами, но — страшно хочется — с ощущением роста культурного озолочения.

«Жил старик со своею старухой...» — Не жили-были вместе, наравных-заодно, но старик вначале, впереди, а после, за ним его — пока! — старуха. Кто пролетает махом над первою строкой, кто бегло название сказки просматривает, бежит в предельных торопях от смысла имени, тот будет всю жизнь считать заглавным действующим лицом старуху. Т.е. попадет в ту самую жирную поруху, неотличимую от прорухи нечувствием чудес.

«У самого синего моря»; Место, указываемое Пушкиным, это – граница земли и моря, Фауст и Мефистофель отсутствуют. Пустынно. Граница, подвижная в приливах и отливах. На суше такая только у Ноздрева, взалхлеб врущего о необъятности своих имений, прямо при зяте Мижуеве. Раздувающиеся границы, как ноздри воздух, жадно хватают все подряд. Сам обладатель носа не бежит, а стоит, сумбурно, с жаром жестикулирует, как ветряная мельница...

Граница описана Александром Сергеевичем с одной стороны – стало быть, с главной. О земле здесь прямо ни слова, зато в следующей строке – по ветхости избушки – можно заключить, что она не особо благосклонно одаривает чету, скорее суша, сухость бедности, чем кормилица хотя бы самого необходимого достатка; о зажиточности, тем более дородности и величавости Домостроя ни звука. Кормит море. Но интересно, что Пушкин подчеркивает не это и не то, что стихия сия вольна и в своевольности опасна. Поэт выделяет море цветом – синим цветом, цветом мечты. Небо, темно-синее в алмазных звездах ночью, золотисто-голубое днем солнечным, зорями озаряемое утром и вечером, – небо – тоже мечта. Причем, мечта не меньшая, чем море, а более едино-сводная и высокая, да и в разнообразии и смене цветового богатства более соответствующая человеку как микрокосмосу. Стихотворец выбирает в этот раз море. Оно ближе земному, ровня ему, обе стихии – дальнее в мире. Море объемится не воспарением ввысь заоблачную, солнечно-звездную, но глубину, сгущаемой в тайну неведомую, опасную. Море – жизнь рыбака, самое синее, самая глубинная мечта его. Жизнь и мечта – одно, в едином дыхании бьющееся сердце природы, стихийной и человеческой. И первое всего человек, ловец мечты в Окиян-море.

«Они жили в ветхой землянке...». В житейско-бытовом плане старик и старуха вместе: они (ср. первую строку). Результат их усилий – а большая часть жизни

и, по мудрости народной, ее лучшая часть, позади — ветхая бедность. Надежда на исправление положения по здравому уму в старости седой напрасна.

Остановимся на домохозяйской стороне подробней. По обычаю тех (всех пока) времен держался этот «базис» жизни в женских руках, натруженных, терпеливых, чутких. И теплых, ласковых. Старуха пряла пряжу. Пряла с девичества. Из другой сказки Александра Сергеевича известно, что это второе из трех основных занятий девиц-жен. Первое — готовить пищу, быть искусной поварихой. Творение растет из варенья. Через желудок, чревоугождение лежит путь к завоеванию мужской половины: ублажи потроха и сердце забирай. Да и мир честной любит пир горой. Признаем честно, старик как добытчик оказался, мягко говоря, мало пригоден для смачной жизни, Николаю Васильевичу Гоголю туго бы пришлось за столом сей старосветской, но не помещицкой четы. И место на житье старик выбрал не с тучной землей, не с лесами, богатыми ловом, грибами, ягодами. И в море ловил из года в год столько, что едва-едва сводили они концы с концами с женой. Где уж пиры закатывать, народ веселить застольем разгульным. Видно и землянку отрыл герой на отшибе от людей, чтоб не мешали, не мучили повседней суетой его мечту душевную, не баламутили корыстно-коммерческим ловом приволье самого синего моря.

Не сложилось у них и с детьми. Это третье занятие-мечту Пушкин считал главным, царским призванием прекрасной половины рода людского. Ради него царь Салтан нарушил традицию выдавать девиц замуж по старшинству, высватал у матери младшую дочь, мечтавшую о рождении богатыря. И хотя старался Салтан загладить свое пре-ступление обычая, поселил во дворце сестриц с матерью, наделил каждую из девиц главенством в любимом занятии, все же без приключений и злоключений любимых и чада их не обошлось. Царь

поступил в конечном счете правильно (по-русски! взял в жену одну, а не создал гарем по-салтански), история кончилась добром, прощением и всеобщим примирением. Однако вернемся из палат в нашу землянку. Бездетным старикам подмоги ждать было неоткуда, некому было скрасить их старость. Кто виноват в бесплодии? Бог знает. Но если — подчеркиваю, что не настаиваю, что предположение сугубо условно — если подобное порождает подобное, то виноват старик. Справных много, без числа женщин, девиц и жен, хороших и достойных своего призвания, исполняющих его длением жизни людской в ново-рождении человек. Честь им и слава! В таинстве сем им без подмоги мужей не обойтись. Так что, скорее, муженек оплошал. Уж больно особенный, особенно-исключительный он был. Видно, как увидел в первый раз море, так и прикипел к его волнующим глубинам беспамятно, так и поплыло все остальное, как во сне. Прямо по Платону, сон на яву, виденье сильнее и ярче всех остальных явлений.

И встреча с молодухой, ладной раскрасавицей, свадьба праздничная и уезд молодых на брег пустынный — все как бы с ним, на самом-самом деле для других, в их восприятии, но не для последних глубин сердца молодецкого. И он в корыте, тогда еще новехоньком, целом, всем миром дареном на свадьбу, видел корабль, птицу-синицу, что море зажгла мечтою. Диво, сотворенное умом и руками человека для сердечного общения с самой синей стихией. Диво и дева, живи и радуйся!

Лада зоркими глазами высмотрела, бойко, но, как положено, стыдливой краской румянясь, высватала-согласилась. Выбрала себе удальца по едва заметным, но ей вмиг бросившимся в глаза и принятым сердцем навек при-метам. Метель вешняя, бело-розовая среди сочно зеленого. Странность пред-мета и выделила его среди иных ухажеров. Бывают странные сближенья. То, что особенность исключительная, из всякого ряда вон вы-

шедшая девица не знала. Или знала, но смысл в нее не тот, а свой желаемый вкладывала: дескать на пустоте, вдали от обжитого мира, где начальников законных воз и малая тележка, там, где море открывает всеземные просторы, суженый ее станет основателем прекрасного, доселе невиданного мира, и прародителем его справедливой и милостивой династии. Может и скромнее были упования, может и не было ничего, кроме сердечной привязанности (всем такое «ничего»!) к мужу, но верная долгу последовала пава за ним, как нитка за иголкой. Долг свой справляла честно: варила, что муж приносил, корыто, стирая, не жалела, пряла – одежду-оберег, покров себе и мужу, да правила невод ему, коль жили они одиноко, все более от мира в отрыве и забыты.

Так иль не так – умолчал Александр Сергеевич, да в другой раз и сам привру по иному – но прошло «ровно тридцать лет и три года». Ожидания притупились, повседневность износилась до невосполнимой дряхлости, только все резвее соки и силы жизни уходят, не морем волнуются неустанно, как вначале, не смиряются с неудач камнями, а точат их, хотят именно под лежащий камень затечь и унести его в вихре водоворота, как былинку. Течет и течет, иссякаясь за мигом миг. Невозвратно: уходим, уходим, уносим...

И в этой дреме не проморгать бы, не проспать бы даты 33. Она событийна, в ней кульминация полнения того, что предначертано осуществить. Вершина, с коей не спускаться бы как можно доле, безтеневого зенитное Солнце жизни. Возраст Христа, его проповедей и победы над смертью. Встал на ноги в лета и Муромец Илья.

А старик пошел на море, как обычно, как все годы своей нелегкой рыбацкой доли. И села за пряжу старуха, вытягивая нить судьбы, чтобы сплести из них плотно берега, покров жизни для всей своей родни, хоть и было-то ее всего два человека. Как нить тянулась, молчала или пела стара – то ведомо Парке – она по-

вседневности скучной тучный дала поворот. Нет не заметил понурый рыбак, что на утреннем небе всходила его звезда. (В здравом уме можно лишь рассмеяться от переключки английского имени «star» и русского «старость, -ик, -уха». Звезда старости на зорьке утренней – взбредет же в голову. Для поэта же такое нередкость: «дни поздней осени бранят обыкновенно...». И т.д. и т.п. В духе просвещения гений – парадоксов друг.)

Раз и два он невод закинул и обрел ненужную тину и морскую траву... От них долго и терпеливо чистил он сети. Устал. Не было силушки. Где ты удаль былинная, молодецкая, позволявшая играючи закидывать невод по 33 раза на дню? Хотел идти домой да хорошо обмер на время бессильный сдвинуться с места. Как вернуться пустым, не тетка ведь голод. Откуда что взялось? – ни сам, ни кто не знает, но вновь, в третий раз забросил он снасть. «Пришел невод с одною рыбкой...». Первый проблеск ее обрадовал старика, наконец-то удача – рыбины хватит на обед и на ужин. Иль она не одна, за нею другие? Не такие большие как у Ноздрева в пруде, но множество меньших, реальных. Нет. Увы, одна-одиношенька рыбка, для обеда мала, даже ужин с нее не сварганишь. Ни уши, ни поджарки – поделом тебе, рыбачишка дырявый. Так, ругая себя беспросветно, вынимал старик рыбку из сети. С досады великой и горькой не признал он с первого взгляда, что сбылось, что случилось, что случилось... Ну, конечно, блестит чешуей, присмотришь – и отлив необычный, золотой, но сколь уж раз казалось сбывалась мечта, сколь рыбин и рыбищ гляделись славней и дородней... Эта малая мало похожа на ту, что таить должно было самое синее море.

Вдруг (лучший друг искателей) пробила старика молния всех 33 прожитых в одном желании-месте лет. Непростая простота нечаянно и как бы помимо целеустремленной воли обретенной малости, неказистой на вид рыбки. Как «самоварное золото» она – рыбешка,

сикилявка, годная разве что коту когда не одна. Но она-то золото живой, порождающей в добре, красе и истинности простоты, гений при-родной гармонии. В единение с такой неслыханной простотой впасть хоть разок, хоть на миг – вот счастье, вот права каждого мастерового человека. Старик наш пережил преображение. Практически-прагматические счёты жизни канули в ничто. Просиянный радостно он любовался Рыбкой. Ни времени, ни пространства, ни тягот быта, ни трагедии смерти... Музыка радужного молчания переполняла вечность живого бытия.

«Как взмолился золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море!
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».

Мечта заговорила, ожила. Стала гораздо больше, чем ожидал от нее в самых дерзновенных, самых фантастических грезах.

«Удивился старик. Испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила».

В предложении рыбки о неограниченном в желаниях откупе не только раскрытие ее всемогущества, но и испытание. Испытание в самой несоизмеримости дара прямого сердечного единения с Природой и выражением этого чуда в житейско-бытовых нуждах. Как бы необходимы ни были они (голод, холод, жажда и т.д.), как бы обширно и высоко ни поднимались они в земной стати, включая вольность царскую, – невозможно совместить одно с другим в количественных эквивалентах. Старик, вероятно, никогда не знал ученую формулу о том, что целое больше своих частей, несводимо к ним (или, осторожнее выражаясь, они не совпадают прямо и непосредственно, недвижимо-нерушимо между собой). Если бы и знал назубок, вряд ли бы вспом-

нил внятно эту научную истину. Старче мудр житейски, еще более осиян опытом поиска и встречи с мечтой, поэтому безошибочно и сразу находит верное решение.

«Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе»

Бедный рыбак и простой человек не забылся, не возгордился, что Владычица угодила (угодила ли?) к нему в не-вод, что взмолилась о доле своей, о пощаде во вне-неродной стихии (не могла умереть бессмертная рыбка в воздушной стихии, стала бы жутким юдом летучим, мстительным, страшным). И старик, нет именно Старче, отпустил ее с ласковым словом на волю.

Среди последних строк, подаренных нам Александром Сергеевичем живых сокровищ, есть такие:

«Во сне был осчастливлен вами
И благодарен наяву».

Переполняемый, как мне кажется, созвучными чувствами старик воротился к старухе. Внешне Старче-старик не изменился. О пережитом преображении говорит внимательно-сочувствующему взору какая-то осветленность и легкость всех движений, как будто мудрость старости стряхнула ветхость дряхлости и облеклась в уверенную силу молодости. Жизнь под своей звездой незакатной. И юность знает, и мудрость может.

Не поведать о чуде великом другому, близкому, родному нельзя. Благо едино с иным. Над дарами чахнут Кощеи; костяк их бессмертен лишь до того, как не сломлена игла. (Почему ее ломают пренебреженно? Интересно? Вот и подумай, поучительно будет и коль разгадаешь головоломку иль нет, и коль в кни-

гах найдешь отгадку иль сам предложишь такую, что другие согласятся и сберегут, и по-правят, и из уст в уста передадут).

Не дойдя, небось, до порога – никогда не бывало с ним подобной оплошки-промашки – исповедовать начал душе-половине великое чудо. Говорил, как сумел, взახлеб мешая мечту и обыденность жизни: золотой сразу рыбка явилась, потом для уточнения не-простою; и отпустил ее он не по правде всевышней, а по робости лишь не посмея выкуп взять, какой пожелаю.

Как старуха приняла старика? Оторвавшись от пряжи (что-то ей подсказало), узрела она рыбака, подходящего к дому. Возбужденье и радость несли муженька, словно птицу. Отложила пряжу старуха, преспело иное занятие: голод, добыча – на сей раз большая, дня на два иль на три, дай бог на неделю – звали кухарить. Не дойдя до порога – вот странно! – начал речи старик, махая руками, будто мельница в жаркий помол. Со слов первых о чуде великом поняла, как жестоко ошиблась, вновь пустой воротился старик. И чтоб сгладить свою неудачу пустомелит о чуде ей сказку. Ладно б рыбка злата чешуёю (чешуя не съедобна любая, уж потребны давно на монеты чешуйки), но вот чтоб она говорила, речи рекла человечьи... Окончательно муж ныне видно свихнулся с ума, непоправимо свихнулся в смыслах привычных и здравых. Ой, давно я подметила склонность к такому исходу. И ждала, и боялась, и много молилась: спаси его Боже!

Ныне все же случилось, сорвалась опасная странность в убогость. Говорить о говорящей рыбке – точно заговариваться. Что там дале зашибленный мелет? Мог желать любой выкуп, расхлебать одним махом неизбывное горе нищеты беспросветной. И за так отпустил! Пустобрех с пустым брюхом!

Взорвалась в ответ бранью старуха:

«Дурачина ты, простофиля!»

Кто лучше всех знает человека? Его вторая половина. Порой со стороны родной определение намного точнее и вернее, чем самоопределение. Емкое и краткое, нередко в одном слове такая мета навек становится родимым пятном, именем, неотрывным от сути предмета. День был чудесным не только для старика, но и для старухи. Влепила она прозвище своему муженьку не в бровь, а в глаз. Два прозвища – в оба глаза.

Прежде всего лира души, ее ставшая на время брани (решительной и последней как всегда среди милых) луком, выпустила стрелу каленую по меркам своих ожиданий и итогов семейной жизни. Муж ее – сегодня бред его о рыбке говорящей тому лучший аргумент, кстати, переполнивший чашу терпения и осушивший до дна чашу надежд, – так вот, муж ее – дурачина. Ой, как горька истина. Признавать ее публично не след, да в запальчивости сорвалось... и улетело. Дурачина – такая правда, одна правда и ничего кроме правды.

Выходила-то она замуж за дурака, не была в стороне от сватовства за выделявшегося из толпы какой-то странностью молодца. Однако дурак на то и дурак, что сторонится, чурается обычного, чтобы преуспеть в деле необыкновенном. Прямиком, заурядными и рядовыми способами и целями из ряда не выделиться, тем более из него вон не выйдешь в люди добрые, не засияешь пре-вос-ходительством. О царском величии в страшном трепете, мимо-летно чуть пригрезится и буде. Словом, дурак в молодости задатки имеет для стежек-дорожек невиданных в традиционно привычном мире, для выхода в знать добрую, боярство великое. Не сдюживший дурацкого гужа так и остается в недобром чине – дурачиной. Закореневший в непригодности ни к чему, в рядовости, холостой и для выдающихся результатов дурак и помрет не на родном одре. Словом, бо-быль не-быль, на котором все поставили крест, вбили кол осиновый в его волшебные способности, есть дурачи-

на. Неподдающийся исправлению вывих. Дурак и дурачина — «двольская разница», как говаривал поэт по другому поводу. Архи-типичное расхождение, похожесть близнецовая обликов при совершенной невместности суетей.

Выпала горькую правду лебедушка, как косою косу заветной мечты срезала. После 33 лет, после двух пудов соли выплаканной, кто ей возразит, кто оспорит: старик-дурачина? Она же сама, прямо тут же: «Простофиля». Не ошиблась в девичестве, сразу смекнула, что парень-любовь, phileo. Просто любовь в ее простом совершенстве, воплощенная в жизнь, в сердце, улыбку и взгляд человеческий.

Простая, слишком простая любовь оказалась, ей рук, ей «я» (эго) не хватало. Зрящее истину сердце любило внимать, созерцать совершенство в волненьях Природы, боялось нарушить сложенье разных, подвижных и многих в Величество стройное жизни. Старик был философ, простофиля. Философ природы, пребывающий космос искавший, гармонию жизни — стойкую, вечную, всю в золотых переливах единства. Человек. Целовече — частица вечности целой. Старик не Сократ, не жалил народ вопрошаньем, не сбивал его с толку привычек и быть не хотел повитухой в спорах-исканьях зачатой мысли. Властью сообщества, ищущих мудрость, — со-кратом — быть не хотел и не мог. В уединенной от градского и сельского шума, в тишине бросал, бросал и бросал он невод в глубинную синь любимой мечты. О заветном без слов догадалась старуха; видно, так уж он создан и не гоже здесь править горбатого. Смирилась, терпела, пока совмещалось хоть как простофильство с хозяйственным бытом, пока теплилась, тлела надежда, что... не исполнит свое наважденье — в прозе суровой оно никогда не приспееет, а образумится муж, повзрослеет, детскую блажь отложит подале. Сказку б беречь для дочурки иль сына, даст бог и внукам поведает давние были, если в них чудо занятно, учительно.

В судный день, вещий день приговора конечного глаз второй запечатала мужа жена его истиной. Непроста простота полной истины жизни, плещет золотом правды с обеих сторон. Лицевая, практически верная, увы, крайне нелицеприятна для героя – дурачина – вобрала итог всей совместной жизни. В ней точно исполнилась позиция практически-прагматического разума. Безжалостный, суровый и справедливый приговор оглашен оглашенному устами старухи. Но судия, как никто другой, знала и до мига сего считала допустимой и даже до известной степени привлекательной тыльную в мирских перспективах сторону дедовой души. Простофильство, как мета дурака, метящего в люди добрые, чины знатные, память славную. Но когда суженый стал оправдывать свою неудачу поимкой рыбки говорящей, а затем отпустил ее без выкупа, хотя мог... мог все!.. кто ж такое вынесет-вытерпит? Брехал бы не на пустоту сосущее брюхо, глядишь и посмеялись бы, похохотали бы до слез, до коликов – дескать эка удумал старый хрыч, ум за разум заходит.

И в сердцах, вспышке гнева Ксантиппа (назовем сварливую жену философа историческим именем) бросила еще один камень, разумеется, увесисто-практический в старика, очутившегося второй раз кряду в онемелом ошеломлении.

«Не умел ты взять выкупа с рыбки!

Хоть бы взял ты с нее корыто,

Наше-то совсем расколось».

Поверила вроде бы росказням простофили. Тогда – практика критерий истины. Зачем знание сокровенное без сокровищ житейских, зачем знание бессильное, не на службе удобств и польз его обладателю?

Интересно, что не «хлебом насущным» ускорила старика старуха. Ткнуло носом в корыто, в расколотость дара свадебного, в поруху семейную. Жило ли в ней романтическое воспоминание о днях юности, впро-

чем строго соответствующее исконным традициям, или практицизм приобретения предметов длительного пользования последней модели – не берусь судить. Не знаю и то, действительно ли поверила она, с ее огрубевшим несколько от десятилетий невзгод «реализмом» в чудеса простофильства, или так слово пришлось в нагнетании свары (вот чего пришлось варить!). Но старик точно поверил, что старуха изменилась, поверила в реальность его мечты. Да и сам он изменился. Пронзила его умиленное сердце боль практическая. Взвалил вину он в полном объеме и острейшей жгучести за ветхость, за почти расколотовость жизни верной его – лучшей, умнейшей и добрейшей – половины. В благостном искании добра высшего, сияющего истиной и красотой, как допустил он порчу жизни обыкновенной до такой исхудалой худости? Пока карабкался ввысь, обливаясь потом застывшим глаза, собирая силы и волю в каждый следующий шаг в неизвестность, было не до быта, не до измерений твоего питания терпения близких. Сегодня ты был Там, дышал полной грудью в гармоничном ритме с животворящим Единым, сегодня ты начал вещать самым близким-родным об чуде великом, чтобы причастить, наделить их наконец-то обретенным счастьем и... Как предвидел Платон, душа благая упала с неба, над истину познавшим насмеялись, чуть крепко не избив, узники темных пещер, скажем мягче, жители трясин суеты, к ней приспособившиеся и ее сделавшие единственной меркой (в разумении их – мерищей) всего и вся. Дороги несчастные прагматики, преуспевающие и не очень, простофилям. Особенно если делают вид, что верят в заоблачную мечту и хотят, хотят сами убедиться – по-своему, на лад житейский и манер бытовой – есть ли она то сокровище прибыльное? не была ли поврежденным умом из-мышленная?

Говоря философским языком, в диалоге старика и старухи было установлено тождество бытия и мышления; предмет познания и его результат – идея – совпали в истине. Совпали и раздвоились на истину созерцательно-теоретическую и практическую, небесную и земную, потустороннюю и посюстороннюю. В этом различии двойняшки не остались нейтрально-пассивные друг к другу: отталкиванию иного от себя соответствует и отталкивание себя в изоляцию от своего иного, в общем от всего как неперемennого условия достижения и сохранения чистого тождества, моно-лита само-тождества. Таков закон логического формализма. В жизни, напротив, близнецы ухватились друг за друга, стали обращаться и занимать прежнее место другого, пропитываться качествами, заботами иного как своего, т.е. как друга в одном общем целом. В танце-борьбе обращений мест, позиций со-узников, их превращений-переворотов через голову («ударился герой оземь и обернулся волком серым») и схождения со своего ума за достоянием ума другого-друга рождается новая история, начинается новый отрезок, этап в жизни героев, иные правила их связи в семье. Роли и место в драме преобразуются.

Старуха поверила в мечту небесную, старик проникся заботами о пользе повседневной-земной. Верх, пусть по-верхностный, в указании задач очередных полностью закрепляется за практическим разумом, исполнение же за стариком. Связав должное с сущим в одно, созерцательный теоретик, мечтатель стал истовым утопистом. Переродился, чтобы сказку сделать былью. Запределье в услужении перед прагматикой, в услужении беспрекословном, осознанном и поначалу не без энтузиазма, а еще более не без острого чувства вины перед суженой.

«Вот пошел он к синему морю;

Видит, – море слегка разыгралось».

Почему разыгралось «море» (забудем ненадолго, что слегка)? Да потому, что случай был исчерпан, встреча старика и рыбки завершилась полным удовлетворением сторон, разошлись по добровольному согласию каждого. Совет да любовь взаимно установлены по меркам возможных желаний сторон. О возобновлении, продолжении встреч — ни слова. По всем канонам свободно-договорного права повторная «сделка» была вовсе не обязательна. Не исключалась, конечно, если бы открывала выгодные, прибыльные возможности своим агентам. Здесь же была «стороной» Сама Рыбка. Ловил ее рыбак ровно тридцать лет и три года, а теперь на дню нужно второй раз повстречать. Да не мечтателю чистому, а служителю пользы.

...Вот идет старик к морю... В тяжких раздумьях, в сомненьях: пройти весь до финала путь старухи ради и себя во прахе? иль ворочаться с таким под град издевок и насмешек, злых и колких, в ветхую землянку? Еще глубже затаить мечты свершенье однократное или менять ее пытаться на прибыль?

Но мечта не только необходима, мечта неизбежна, в вольной любви своей к избраннику. Неотступно следует с ним, водительствоует его в миру, пока блюдет он заповедь живую не-бес. Без-бесности кто знает тайну? Кто не срывается со свода совершенной чистоты добра? Никто, пожалуй. Но кое-что подмечено счастливыми, вкусившими с ней радость встречи. Привязывать ее, просить о чем другом, кроме ее, не вздумай сам, не вздумай сразу. Спугнешь, навек погубишь, тень из Аида не вернешь всей славою земной (и огненной? и воздушной?). Отпусти на волю, любуйся на просторе куда не истаёт вдалеке, храни только в сердце, ставшем вдруг океан-морем глубоким. Молила рыбка отпустить ее за выкуп — то испытание — загадка на простодушность, на простофильность. Попробуй Рыбку закажи? Ужель Она не обернется вмиг в то, что корытолюбцу

никаким стяжаньем недоступно. Преследуешь? Напорист, упрям, угрюм, циничен? — отплатит строго по несправедным трудам. Аз воздам.

Старик не знал затей высокого искусства, был близок совершенству простотой. Гоним бичом вины к границе моря. Пришел, увидел — разыгралось синее, знать плохо дело, но делать надо, некуда деваться. Стал кликать золотую рыбку. Вновь свершилось чудо, величавее первого: без невода рыбка явилась, по зову, наперед предложила услугу, словно друг, брат... Отче. Иль всегдашний должник перед слабым Сильнейший — без расписок, без счетов оборотов «за» и «против»?

В старике вперед вышел мечтатель, но глядящий с вершин на низовье, об ухабах болящий в дланях все-сильных, ровных и теплых. С поклоном просил о милости он у государыни, рыбка вняла этой просьбе-молитве. Самое нужное дело корыто — крепость быту вернет, мир установит в семье, обновит их с-упругесть радостью звонкой воспоминаний о младости-свадьбе.

Исполнение желаний в чем-то опаснее их неисполнения. Убедилась старуха: прав простофиля! В кой-то раз (первый, конечно) сподобился справить разумно доброе дело. Как? — И знать не хочу; рыбка ли, черт подсобляет, надо ковать свое счастье, выжать все, что возможно. И практическая жилка вздулась, в ход пошли приемы, увенчанные первым успехом. За избу именovan старик простофилею раз, дурачиною трижды. Такова весомость очередной корысти старухи. В ответ море синее помутилось, а старик величал жену не своею старухой, как в первую просьбу, а сварливую бабой. Знала рыбка не хуже поэта XX века, что бьется любовная лодка о быт вдребезги, не хуже писателя знала, что портит хороших людей жилищный вопрос. Получила чета избу, краше, удобней, прочней трудно придумать.

От щедрот старуху счастье не сперло, а расперло. Буйно стяжательство стало. Понесло ее выше того, что по роду ей писано Паркой. В миг заброшена пряха,

витье берега забыто. В кувырке из крестьянок в дворянки — столбовые, чего мелочиться! Старик оценен прямым простофилей, дурачиной и вновь простофилей.

Все гениальное — просто, да не все из простот гениальны. Где тут прямота поместилась и сколько, читатель, я буду думать и крепко.

Из беспокойного моря выплыла рыбка, старик перевел сварливую бабу в пуший ранг — чин вздуренья. Не мог и мечтать о подобном мечтатель. Только жизнь ведь богаче, в ней случай играет так, что не снилось всем мудрецам. Терем встретил высокий худородного, нищего деда. Быстро слилась с новой ролью его — его ли? — половина, словно с рожденья дворянской заваской владела, не простой — столбовою. Бьет без устали Прима слуг усердных, за чупрун их таскает тяжелой рукою крестьянской неугомонная баба. Маху дал в простоватость старик, о себе напомнил распалившейся в дури старухе. Обратился не к ровне и низвергнут был из родни.

«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!

Чай, теперь твоя душенька довольна».

На него прикрикнула старуха,

На конюшне служить его послала».

На конюшне почетная служба, за коня и полцарства давали. Да рыбак не забудет о море, хоть в тереме в холе, там — соленое горе.

Чрез неделю, другую дурь вновь испеченной дворянки замахнулась на умопомрачительную, рекордную высоту. Вот это темпы роста, вот это прыжки со «столбом». Стоеросовый Шест бы сломался. И старик воспротивился. Слуга рядит о желаньи дворянки столбовой стать царицей вольною? Редко такое бывает, обычно царь-государь берет замуж, то бишь на службу — рожденье наследника: «я б для батюшки царя родила богатыря». А тут без повелителя мужа, без справления царицы призвания! Раз — и аз — царевна, волей-воль-

ная! Стал в испуге перечить старик, взмолился, перепутав места и суть обращения. Укоряя взывал не к дворянке, а к бабе по жизни рыбацкой известной тридцать лет и три года, дурь посчитал беленою, ядом смертельным. И тут же свел невозможность своей старухи управлять государством к неумению справиться обряд, обрести величества облик. Эх, простачок, простачок, проще простоватости. Нет имиджа такого, который бы вмиг ни переняла жена.

Что по крови дворянка она столбовая, а худую крестьянкой была по несчастью, по его... Нет слов! Слов не тратят рожденные в знати и силе в объяснениях и спорах с худыми безумцами. Всю осерженность сердца вложила в пудовую ручку дворянка, оплеухой долго звенящей воротила слугу из забвенья на место. Мужик смеет служить, мне ли ему прекословить? Поневоле, а лучше по чести исполнить добротню все хотимое волею знатной, причинной.

Взваленный долг службы превратил старика в старичка, море синее — в почерневшее. Желанье дворянки именовано бунтом. Знал—не знал простофиля, но угадал: в котле бунта рождаются вольными царицами крестьянки-дворянки.

Сделал душеньку царицей грозной, в ноги кланялся и здравия желал будто все еще соизмеримы прах и юдоль и воздушна Солнца даль. Не взглянула, гнать велела. Чтоб забыть о своем произрастаньи, чтоб садовник своей тенью, своим потом и своей землей невозной не изгадил процветанье всех цветов царицы Розы.

Затолкать взашей — дело боярское да дворянское, изрубить топорами — стражи сласть, — такова у вольной царицы исполнительная крепкая власть. А народ молчал? Переживал сочувственно? Насмеялся над старым невежей, согласился, что все поделом, по уму. Остерег наперед дурачину: не садись в сани не свои, тем более летом. Ах, как право большинство. Bravo! Bravo!

Только севший в сани летом, пусть чужие, может ехать и не хочет? Их к зиме готовить начал?

Неизвестно ничего о герое, пока дурь в царстве вольном кипела и бучилась в отведенных естеством пределах, правда, в экстремальных точках, беспредельных, чуждых по меркам сонливой обыденщины. Где наша ни пропадала? Хочу быть владычицей морскою! Догоним и перегоним Зевеса! Молодчина, истинно истовая мечтательница. Ясно, что Окиян-море не выдержит двоих, посему обязана (коль первое желание всурьез и навсегда) рыбка служить у меня на посылках. А почему бы и нет? Просто-таки прямым простофилям, невежам-дурачинам кажется сие дурью в невозможной степени. Мы люди с жилкой практической, хваткой прагматической (перво-наперво чужими руками жар сгребающие, на чужом горбе удобно приросшие) мы не сомневаемся в успехе. Раз рыбка служила нам, нам и только нам посредством старика (ему ломаного гроша не перепало от нее, одни шишки), то почему бы не послужить ей светлости нашей напрямую? В безграничности ее милости мы не сомневаемся, на силу ее волшебную не претендуем, только на дары — вполне, вполне разумные и ей не обременительные. Так что все по закону заведенному, себя полностью оправдавшему. Чуток проясним, кто в доме хозяйка и распрекрасная начнется жизнь.

Не дерзнул старик перечить безупречной логике вольной царицы, нет порухи и пятнышка нет в безукоризненной думе по форме. Перещеголяла его и в мечтах бойкая баба. Не Сократ Старче наш. Помутилось его простофильство. Лучше бы сгинул совсем, не пошел за милостью к рыбке, сохранил бы вольное царство. Иль чуял, что самосжиранье в покое дурных не оставит, иззудит-изведет в смерти лютой, позорной и себя, и народ промолчавший?

Слаб, не знаю, как было. Но сей раз тождество мысли-мечты и прагматической мысли в целую жизнь не сложилось. Так хапанули, что сберечь не смогли то, что имели. Рухнуло, аж сил нету плакать.

Черная буря вздувала сердитые волны синего моря; проклятой бабы старик передал (не зная что делать!) грандиозные планы.

«Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море»

Из замаяти долго старик возвращался, все ждал ответа на заданье проклятое: и мечта и жизнь непролазной косматостью спутались, запечатали гордыней невежества.

Не дождался, конечно, того, чего просто-напросто нет. Воротился. Куда? К кому?

Хорошо, что осталось хоть ветхое — прежнее. Поделом старухе: сидит на пороге землянки, отвыкла. Не войти во весь рост, не палаты дворца, не терем высокий дворянский, не изба со светелкой. Тяжко вновь научиться сжиматься и горбатиться. Слезы иссохли, корыто разбито.

Безотраднa участь старухи, но ясна в бытовом прагматизме. А герой? Его положение трагично. Обретя мечту, не смог он державить в ее практическом применении. Отдал в безволии благих, но сверхразумных побуждений на откуп близкому, но другому по складу человеку. В решающий момент взял не свою сторону. Покинула рыбака его золотая, непростая рыбка.

Вернется ли из глубин?

Четыре раза возвращалась она на зов старика, на все четыре стороны людского света милостливо служила тому, кто отпустил ее гулять на вольном просторе без выкупа. Исполнила все, что возможно, что большинству никогда и не снится. Но пятый раз стал

рас-*пять*-ем. Будет ли воскресенье? Иль умер простофиля, а невод забросит в обильное, просто кишашщее рыбищами с красной и черной икрой дурачина?

Каждый решает сам и отвечает своею жизнью. Александр Сергеевич, как и про Евгения с Татьяной, оставил сказание в его минуту роковую. Быть или не быть? — вопрос, ответ — кем быть? Быть бытием или бытом прожитухи опуститься перед ударами судьбы? Поэт, как рыбка не навязывает нам свой выбор. Он творит из хаотичности стихий, стихо-творенья, внятные любому малышу. А мы? Ужель ленивы и нелюбопытны в тайне очевидного, с чудом знакомого, любимого? Ужель только помним о детстве, но не хотим его обильными дарами наслаждаться в зрелости и старости? Не поэтому ли молчит «наше все», что не жаждет быть у прагматиков на юбилейных послылках?

Всплеснул рукою на прощанье и замолчал с улыбкой в прозрачной глубине очевидного. Мы-то талдычим: «гений», «русский человек через двести лет» и рады радешеньки барахтаться словленные худым старухиным корытом. А Сашка, егоза, простофиля, по душам, сердечно общаться только и хотел — с детства до памятника нерукотворного. Как живой с живыми. Гений — это просто, это рождающий жизнь живую, волнующий(ся) цело-вече.

ПРОПАСТИ ЧИСТОЙ ВЫСОТЫ

Жизнь людская — драма: и рыбаку, что невод тащит из самого синего моря, и старухе, чья прожитуха корыто. Быт разбился на созерцанье звезд неба и пыльный низа прагматизм и каждый взамен обесточил источник другого и себя самого. Но есть же не быт битья, а Бытие — там за краями земли, там за пределом хрустального небесного свода. Райская участь, счастливыцы! Краешком глаза, ракушкой уха, всем напряженьем чуткого нюха, всею душою, робкой и дерзкой, в то занебесье мне чистое «я» вознестись бы

Прелесть молодая вполне исполнима, юность сквозь быт устремляется выше и мимо.

— Пойдите, куда без оглядки несетесь?
В избранники праздных счастливыхцев?
В служители вольных искусств?

— Что ж нас А.С. все отвлекает?
Вразумляет, супер-стар,
Из «Моцарта и Сальери»!
От нотаций я устал.
Среди див не без уродов,
Нам завистник не указ.
Тебя не раз бросали с пароходов.
Мастер ты не в нашу масть.
Умчались в звездную пыль.
Одна упала, то ли Музыка, то ли Муза.

Из сострадания послушать старика,
Хоть знала наизусть. Ее звезда – слеза небес,
роса земная.

Припелся третьим я. Не раз уж слыхивал поэта повесть: Сальери – из зависти отвадил – отравил Моцарта. Признаюсь, я за Музой волочился, но ветренность ее не одобрял: опять к нему, а мы, младое племя, вновь мелем, на мели. Тихонечко подсел, они уж увлеклись беседой. Верняк, 100.000 первый раз он начал.

«Все говорят: нет правды на земле».

Банально.

«Но правды нет – и выше».

Смело. Афеистично дерзко в те годы. И, собственно, кто думать может хоть немножко сам, здесь и конец суждениям Сальери, остальное – виньетки ложных оправданий. Нет заэфирности не-бес и нет нам Бога, земному праху – вовсе небессильно – позволено все перегрызть. Себе подобных – на первое, без устали! Возрадуйся: ты стольких в пыль, никто – тебя. Их легионов тьмы и тьмы, их натиск все крепчает. Хлипковат Сальери. Дождаться б поскорей «несовместы». Ну, что она впилась так жадно, неотрывно? А Он-то, он. Самозабвенно, как соловей, поет ее не видя. Уйди она, до дна он чашу-речь осушит. Мне мед Ваш по усам. Муза отомри, пойдем со мной. Рукой махнула гневно, еле увернулся. Она чрез миг забыла обо мне, прильнула к классику. Проклятье! Ужас! Темнота.

Вспрял в бешенстве, стул громыхнул, дверь раскатилась...

Где бушевал и сколько? Настигла молния меня, вмиг спесь испепеля: Сальери – я, я – несовместен, несовместен я. Пушкин знал, что доказательств нет, толпамолва игралась приговором, но композитора уход скандальный с представления собрата склонил поэта к версии народной. Фактически для нас сомнений нет: Сальери не убивал Моцарта. Но приговор Поэта жив.

Его «бестселлер» не утратил силы верной. И муза с Ним, а не со мной, не с звездностью фанерной, не на тусовочных смотрах, где зависть полыхает чертополохом.

В уединенье ушел. Сманило «почему» высокое служенье зависти полно? Кто Моцарт, кто Сальери?

С Сальери начал я. Он сообщает больше, его сознание рассказ ведет, он прост, как гамма, наконец. К искусству он рожден с любовью — высокому, старинному искусству и орган церковный в мальчугане глубоко сердце волновал и слезы сладкой благодати питали душу. До пят с ногтей молодой Сальери захвачен был прекрасным божеством.

«Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне...»

Ради одной высокой, чистой, совершенной цели отрекся отрок от всего и предался одной музыке. Не по годам нацелен ум, максимализм бескомпромиссен подростковый, упрямо и надменно обрек себя Сальери служенью Госпоже. Дорога к звездам дорога, от терний в голове искрится. «Труден первый шаг. И скучен первый путь». Сколько новобранцев полегло? Искусство ты истоптано обратными следами, все в оспях беглецов.

Среди немногих ранние невзгоды преодолел герой наш. Тут природными одними талантами не обойтись; брать высоту, на ней держаться и плацдарм готовить для восхождения все более крутого в высь — нужна метода, автоматизм владенья простейшим и вдохновляющий пример, идущих впереди, анализ достижений их, влекущих за собой, как восходящая звезда.

Как непрестанные досады брал Сальери? Свой сад он предпочел возделывать осадой, рассудочной, неторопливой, в элементах прочных, несокрушимых неделимостью сокровищ. Он вечность музыки из атомов слagal. «Ремесло

Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную сухую беглость

И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию».

Путь вверх надежный, необрывный до вершины
самой нашел Сальери в начальном спуске в пропасть
низа. Границей спуска алгебру избрав, он развернулся
и начал восхождение к гармонии, уверенно и быстро,
без ошибок грубых. Движение вперед и высь, сегодня
дале, чем вчера, а завтра — далее и круче, чем к вечеру
сегодня; в такую высь, что утром ранним, сон скорей
прогнав, не поверил бы никто в реальность планов зав-
трашних, составленных на отдыхе ночном. Сальери шел
легко, как очевидный фаворит на первое-единственное
место; но пик не уместит двоих, не черти мы на кончи-
ке иглы. Разбег подобен взлету птицы. «Тогда

Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты».

Как и шаги, полеты первые трудны. В их неуклю-
жести молва и слава — дань лишняя, до-сада. Сальери
не дурак, риск репутацией нисколько не оправдан.

«Я стал творить, но в тишине, но втайне.

Не смея помышлять еще о славе».

Легкая, прозрачная гармония музыки нещадного
самозабвенья, на износ труда желала и... ускользала,
как вода меж пальцев, не в песок зыбучий — в никуда.
Капризом, прихотливо своевольным, она жестко от-
бирала дарованное вдохновенье, плоды его, которым
мастер упивался миг назад, бросала жадному огню: пес
верный неустанно, язычески танцует, языками бессмер-
тие лизал, как сор.

«Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая с легким дымом исчезали».

Опустошенный, тлен и прах, последним вздохом ревновал Резвушку, ушедшую другого вдохновлять. В беспамятстве тупом не мог и думать и желать, вернется ль вновь ко мне проказить?

«Что говорю?» Меня Она так закалила, внедрила непробиваемый костяк характера и воли, зарядила крылья подъемной силой одоления тяжестей земных и собственных привычек. Инерцией своей же питанье началось, когда великий Глюк пленил и публику и всех прежде мастеров новейшей тайной, захватившей болью дух разверзнутых глубин. Сальери (и другие звездочеты) с пика своего в пике свалился. Вот где сгодилась хоть какая-то но высота, хладного ума расчет сухой и беглый, безжалостность самозабвенья, чтоб не разбиться вдрызг о зубы острые на две кромешного ущелья.

«Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой».

Сияние вершины прочной заметно стало мастерам и без нее гряда бы их столь полной б ни была. И публика досуг охотно проводила под сенью крыл гармонии моей. Сальери чистил перышки у птицы славы неустанно, не отпускал ее, успехи холил и наслаждался мирной жизнью. Для профанов он житель горный (иль даже горний!), посвященный Богом и судьбой жить от рожденья образцом обычным смертным. Товарищам в искусстве дивном он равен, следит за их успехами в трудах и славе аналитично и ревниво. Блюденьем дружбы и приязни среди особ блестящих был Сальери горд не менее, чем созвучиям в сердцах людей его созданий.

Нет никогда Сальери гордый не зависал и оком боковым над именем-имуществом другого не косил. Себя он сделал Сам, дань с прибылью платя достоинствам собратьев по искусству. И никому мысль не взбредет, что жизнь он полз завистливой и ненавистною змеєю, что вживе был растоптан грызть песок и пыль бессильно. Шагает гордо, чинно, величаво, при жизни памятник живой служенья образцового Музыки. Редких достижений в ее гармоний создатель, так благородно сочетавший ее любовь с товарищами, где все соперники – друзья. Он ни признает ни за что, что на йоту он лучше остальных, точнее, зорче их в оценке созидаемого каждым.

Вода (грести до кровавых мозолей теченья против к обетованным берегам), огонь и трубы медные – все позади, все славно повернулось на пользу. Живи в союзе мирном с Музой, согласьем и любовью духовной наслаждаясь безгранично.

Но, что помыслить мудрецам невмочь, что им не снилось по ночам и в грезах, то под рукой у вольноприхотливой Музы. Сальери, классик благородный, ей неровня, не люб отныне, просто примечаем. Или новый Глюк явился? Готов потрянуть Сальери стариной: есть арсенал, есть порох, жажда биться до победы, есть опыт и метода есть, есть неотъемлемый навек успех.

Нет не поможет рассудком выпестованная вечность – навывлет смертью ранен, талант отрытый из земли тернистой. До-садой неприметной остальным взращенный сад засох, не плодоносит боле, болью инея цветет. Сальери ввергнут в зависть, мучительную зависть, зерна коей не может дух его перемолоть. Напротив, как дракона зубы, они все множатся с его победой над одним из них.. Бедный, неумолим диагноз.

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду.
Любви горящей самоотверженья,

Трудов усердия, молений послан -
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..

Аналитик тронулся с ума: он вопрошает небо, в посылке большей утвердив, что нет там правды. Ум в зауми противоречий означает, что гильотина взведена над головою. Чьей? Разумеется, того, кто недостоин – преступника. Стоп, стоп. Замри ход тождества передо мной. Здесь перебой, здесь перескок с ума, молящегося небу и даровавшему талант и славу трудовую, на иноходь ума зигзагом, ума, несущего задом-наперед на лихом своем загровке зависть, – под гору ненависти ярой, смертной.

Сальери ум в зависимости зависти заумной, сокрушен противоречьем. Не-навидит умозренье, с зияющих высот готово смертью все пожрать, что с нею несовместно. Сам того не зная, Сальери – «бог», подземный, страшный. Его талант, его усилья, благородство в славе – низвергаются в ничто, когда коней ума меняет незаметно аналитик. Вернее, для главы своей конь белый остается – самоубийство верой непросто, Спаситель не для этого страдал и воскресал. Два ума – один самооправданья для, другой – для приговора – таков умнейший музыкант, точнейший аналитик. В зародыше иль на предельной высоте – то мелкие детали – участь решена Моцарта. Он к палачу спешит, безумец. Дразнит, провоцирует его поверить-проверить алгеброй гармонию по типу в третий раз. Сальери, бедный исполнитель предназначенья рокового своего – что приговор выносит Тень его в тьме зауми не видно.

Так, времени не помня, в предельном напряжении воображения, чувств, ума, читал и читил по-новому знакомое со школы. Когда усталость победила – изгрыз лишь полторы страницы, первый монолог Сальери – пошел на воздух прогуляться. Вечер летний, дышалось хорошо. Я все дивился пушкинскому слову: в прозрачной простоте его спрессовано так много смыслов. Как

гранями они играют точеными своими, то в цель роди-оактивную свиваясь, то вспышками сияя озарений, то в ряби-рези ускользя. Магический кристалл!

– Что сквозь него прозрел? – заквакали лягушки. Навыкате глаза, как стрелы востры ушки.

Признаться мало, в целом – даже очень, самым невидимые крохи. Сальери путь следил за шагом шаг, типичны выделил этапы, искушенья, переходы и... Уд-ручающий итог. Занятие высоким по плечу не очень многим. Из несбежавших со стези подъема остаться лучше на пригорке, на травах шелковых приятно греться и падать мягко. Правда, больно и обидно все равно, да костяка не растеряешь. Талант катить в накатанном верней, стараться не взбираться круто, уметь ждать очередности своей – мудрейших карасей наука. Вершины холодны, сияют льдом, лавинами опасны; горчее всех горчей – явь гения, пред ним таланты и труды напрасны. Язвит беспечно грешников, толкает... – Кто ж этого давно не знает? Ты не зрел, зелёна завязь да червива – расхотались, расхотались дивы омутных прудов.

Взбаламутила меня, попала в глаз стрелой зелень пучеглазая. Перебила вздох и выдох. Не нашел ответа, камнем разогнал с криком: сами не царевны, жабы мошк-коедные.

Развела нас вонь болотная. Под крыло вернулся к Пушкину. Разузнал про отравителя, знать хочу и Моцарта. Про него же Жаб нам ведаёт, оправданье злодейству своему водит в тине напраслины, надеется – в тонне слизкой потонет чистая истина.

Встреча Моцарта с Сальери необходима: первый чтит в нем знатока и судию музыки вдохновенной. Неся созревший плод искусства, Моцарт задержался у трактира вдруг – слепой скрипач заиграл его мелодию из оперы «Свадьба Фигаро». «Нет, мой друг Сальери!

Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Чудо!

Не вытерпел, привел я скрипача,
Чтоб угостить тебя его искусством».

И в комнату входя к Сальери, хотел его неожиданной шуткой угостить. Шутник! Пора давно остепениться, вести себя призванию достойно и сану в действии священном. Опоздал, нехорошо; но снизойду для друга с приличий этикета. Что за чудо его остановило? Богат талантами народ, чего на свете не бывает! Заиграл, и вновь не чижик-пыжик, а арию из оперы — на сей раз Дон-Жуан. Зарезал, с первой ноты зарезал чертов старикашка. А автор? До коликов хохочет, шутка удалась; так здорово — до слез смеется Моцарт, а дуралей слепой, поощрённый господином, режет, рвет и жарит на углях бессмертное творенье.

«Ах, Сальери!

Ужель и сам ты не смеешься?» О небо! Не я ль за пять минут до издевательства сего именовал его безумцем и гулякой праздным? Мне не смешно и я не равнодушен. Негодованью нет предела моему, когда маляр негодный и фигляр презренный пародией бесчестят выпестованный гением высокий идеал. С глаз изыди старикан, чтоб духа твоего... слепец поплелся тут же вон.

Моцарт: «Постой же: вот тебе,
Пей за мое здоровье».

И перемена настроенья тут же. Друг не в духе, ему теперь до опуса очередного дела нет, можно обождать...

Свой гнев Сальери превозможет искусства ради:

«Что ты мне принес?»

Безделицу, две-три мысли, пришедшие среди бессонницы томлений.

«Сегодня их я набросал. Хотелось
Твое мне слышать мнение; но теперь тебе не до
меня».

Сальери. «Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю».
О чем безделица?

О человеке — хоть о ком, о себе в конце концов —
немного помоложе;

Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом — хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак, иль что-нибудь такое...»

Где слышал я уже от Пушкина, как радость света прерывается виденьем жутким, смертию грозящим. Довольно часто. В «Руслане и Людмиле» например. Здесь есть повтор неотвратимый. Не тот ли, что от святости свет жизни отличим своей борьбой со смертельным мраком? Известен вроде победитель, но почему-то чемпионом он не будет никогда провозглашен.

Не отвлекайся, внимай — играет гений!

Сальери поражен: «Ты с этим шел ко мне» и пригвожден исполнить судьбы зловещей приговор

«И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя».

Творимое, по определению, неведомо автору:
«Что ж, хорошо?» Как отзовется мир на свое эхо?
Дитя как примет, выношенное в сердце?

Сальери справедлив.

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я».

Никаких восторгов, вместо «браво!» сомненье «Ба! Право?» Бисировал бы час слепому скрипачу. И тут же в прозу приземленье: божество проголодалось.

Бессонна ночь и труд с рассвета раннего весь день до встречи — желудок предъявил естественное право высокому собранью божеств.

Учтив Сальери, очередь его Моцарта угостить, угостить в трактире лучшем лучшим из всех имеющихся яств. В Льве Золотом свершится тайняя обедня.

Ба! Друг мой рад; наконец-то совпали радости обоих. Беспечный средь дружеского пиршества еще беспечней. Ба! Право? Меня ты Моцарт удивил — пре-

дупредить жену желаешь, чтоб не ждала? Отлично. Как нарочно, все к одному один, какой планет парад! Спокойно можно приготовить яд.

Среди жрецов с глухою славой, избраннык я: его искусство несет погибель всем, кто подымает шаг за шагом, наследников методой обуча, искусство. Вольнолетающий! не поднимет общей планки. Что ему рекорд, на йоту превзошедший прежний? Он исключение, вон из любых расчисленных рядов. Что пользы, коль несоразмерны творения его с бескрылыми желаньями в нас, чадах праха! Честь жречества пятнать не должен гений. «Так улетай же! Чем скорей, тем лучше».

Тебе я помогу. Всем тем, что от любви осталось. Узор причудливый любви, играющий во взорах моей единственной Изоры...Моей? Моей она не стала, как я ее, как я ее. Давно... давно то было, было ли со мной? Растрогал Моцарт шрамы ныне играми, болячки умервщенных членов растравил. Неволен я пред волшебством его искусства, пока он не вернулся в воспоминаниях пройдуся.

Осьмнадцать лет (Привычка — натура вторая, если не истребила первую. Считает, море жизни желая арифметикойвил волю волн расписать).

Сальери наш не мистик ли в числе? Что строгий ум его связал с той или иной цифирью? 18 — юный возраст, жизни цвет. Полтора от первой полноты — 12. Слетает самый первый, нежный цвет самостоянья. Не так красив на вид, но очень важный год — завязки взрослой жизни срок. Побита завязь может изморозью быть, зачервоточить может. Созревший очень рано гений Михаила Юрьевича Лермонтова поведал много нам о тревогах и опасностях поры между цветеньем и плодоношеньем. 18 — три 6, сокрытый зверь, готовый пересилить троек шесть. Сальери, сколь лет ему? Других опор для рассуждений нет. Но если погадать, пока вернется Моцарт, скорее, просится на свет удвоенное 18 — лет 36.

Тогда, впервые с детства, Сальери сердце молодое любовь пронзила взором Изора хохотушка. Неопытный совсем в делах амурных, случайно вышедший из заточенья монастыря искусств на лоно расцветающей природы подмастерье сообразил (или сердце, нюх, инстинкт вдруг в полный голос о себе напомнимый?), что Изора сыпет смехом для него, что лучшей половины не сыскать. Когда б домашних кругом, когда бы дольнюю стезей мирской Сальери выбрал путь свой... Как он страдал в жару холодном, как жало выдирали и прелесть высосал, как гной, из раны, как, инвалидом став душой, учился выглядеть вполне и с блеском и многое еще, что горечью саднит, — об не узнает свет.

Его отказ — ее уж нет. Из дальних стран письмо, так три-четыре фразы... Он сжег его, письмо любви, среди своих творений неудачных. Но дар ее последний сохранил... Не трусом был Сальери, обет возлюбленной он дал соединить навек их тени, когда в музыке сумеет передать он частицу, былинку их неувенчанной любви. И вот сегодня... Моцарт... гуляка праздный, безделицей безумца... Без восхищения, заботясь о слепом кривляке... Он исполнил клятву, так, как никто бы не исполнил из жрецов. И восхотел покушать. Тебе он подарил, Изора, песнь любви, ему твой дар последний я отдаю. Обида глубока, жизнь мало я люблю.

Осьмнадцать лет я медлил, ныне знаю — 36 не 12 троекратно, а 18 сшибленное дважды.

«Все медлил я.

Как жажда смерти мучила меня,

Что умирать? Я мнил: быть может, жизнь

Мне принесет незапные дары...» восторга, вдохновенья в творческой ночи и наслаждение великим созданием друга. Иль, мнил я, злейшему врагу за злейшую обиду, что грянет с надменной высоты, твоим отечу даром. Я оказался прав — прав, как всегда во всем — сегодня Моцарт

«Меня восторгом дивно упоил!
Теперь — пора! Заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы».

Уф! Занавес! Скорей на волю, что Каин там! Дар любви не талисман, а яд, не для себя — сей смерти нисколько недостойн! — для друга, для гения, которого не отличаешь ты от Бога. Как точен мысли ход, за исключением последнего отождествленья (без противоречий нет тождеству убийства оправдательной опоры, нет фокуса соскока и переодеванья).

Сердце рвется. Нет валерьянки. Как успокоиться? Заняться счетом, по пифагорейскому совету. Пересчитать Сальери, исцелиться гармониею целых чисел? Не лезет в голову иного, почему? А, был Пушкин суеверен. Может не случайно, автобиографично осмыслен для него. Ну, да он вышел из Лицея, жизнь вольная волной окатила и заметалась, понеслась... Ужель призраком любви потаенной тогда ему явился в первый жуткий раз? Мощь жизни хрупкой, беззащитной предстала пред секирой внезапной смерти. Иль память всколыхнула славный, грозою полный год 12 (писалась драма осенью 1830 г.), когда лицейские мальчишки — не трусы, а богатыри! — завидовали уходящим на брань полкам? Как они жалели, что им не 18 лет, иль около того! Хандра Евгения, не ринувшегося в бой, чуждей чужды лицейским братьям. Иль гадалки предсказанье ожило: из-за жены под крылами смерти окажется поэт в 36 (?) лет? Жених недавно получил письмо: без приданого согласна Мадонна замуж за него. Карс взят! Боязни нет следа, летает листьями златыми вдохновенье.

Все это очень интересно, дивно. Но требует проверки долгой и в сторону не в ту ведет. Что за бесы кружат меня? ведь я о Моцарте хотел узнать побольше. А вновь на авансцене Сальери соло. Нежданно так раскрылся, правда: И он любил и был любим. Встав перед выбором тяжелым любви он предпочел музыку, в дар

получив «прощай» и яд, на свете задержался, чтоб увековечить свою Изору. Кто б без музыки ей посвященной великим Мастером узнал о божестве, что так бесхитростно в душе ее жило? что сердце чистое о радость так разбилось и в Лету кануло? Кто скажет, кроме С.? скажите кто?

Моцарт! Но он ее и знать не знал! И всем он близок, всем родня в печали, радостях, сомненьях. Как мучишь Моцарт ты меня своей волшебной тайной. Искусила в кровь... Зудящий рой комарих. Что жук я им, который их мухачей сволок в им недоступный уголок? Иль скоморох, живая кукла для забавы? Впрочем, кровопусканье успокоило без валерьяны. Знак не случайный ли природы? Уж не готов ли я внимать приметам, языкам любого рода? – не знаю. Но истину готов рождать. Во всяком случае, как мог, духом укрепился, смерть снова пережить Моцарта от Сальери. А смысла, признаюсь, не ведаю.

На сцену II, в трактир Льва Золотого. По сравнению с первой сценой во второй Моцарт говорит гораздо больше. Как и насколько он раскрывает душу, что может другу он поведать?

Обед хороший, славное вино, участие друга – «гуляка праздный» пасмурен, расстроен, хотя признаться в этом не спешит, хандрой своей наделить не хочет другого. Зато уверившись не в этикетном соучастии того, кто может муки сердца распознать, предельно откровенен, доверчив, нараспашку. Его тревожит Реквием. Не чей-то, свой. Виденье гробовое, миг мрака среди веселия и счастья молодого отныне тенью черной, неотступной и сочной в солнечные дни «озаряет голову безумца». Мой Реквием. Музыка Смерть преобразает в по-бедное дыханье жизни бедной временем, чтоб с Вечностью сродниться. «О Моцарт, Моцарт! Мучительно завидую тебе».

Давно ль тревога почернела?

Недели три. Три срока дней Творенья. Давно. (Тут в мистике цифири надолго можно заиграться, но дальше, дальше поскорей, иначе до смерти защежит обод чувства). Шемит распяты щедро, стало быть Россия?!

Странно, помимо воли и без хозяина желанья, навалилась неотвязная напасть. Не сказывал тебе я этот случай? Так слушай. Тогда домой пришел я поздно (Сын блудный, или Одиссей?).

«Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне?»

Да, Моцарт, ты — не аналитик. Язык же твой сболтнул без ведома сознания, о чем ты думал день целый до поздна, бродя по шумным града стогнам. Согнула, сторбила тебя о смерти мысль живая, не Кай вообще, а все и каждый смертен и я уже почти что на черте, незримой и нежданной чертовой косе улыбочивой Старухи. Всех нас Она переживет.

Не приходил ко мне приятель — сказал ты, а молвил «за-ходил за мною кто-то». Яснее гаммы, предельный кто-то уже не отстанет, хоронись-не хоронись. На-завтра повторилось все опять: зашел и не застал. Отсрочка, дел суетных морока. Но ненадолго. Не гостем ходит Тот, а как хозяин. Пронзает радости невинной самой свет.

«На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой».

Сальери поминал из детства церковь, музыку органа, забвение забав.

«Кликнули меня. Я вышел».

К барьеру. Смерть стреляет первой. Обоих промах — не конец дуэли.

«Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся»

Как слова в строку построены! «Заказал» – какого слово века? «Мне» – первое; конечно, благородства век.

И скрылся? Угнездилился. И червоточит чрево жизни, рвет неразрывное. Скорей изъять. Иль только из-за денег сел он тотчас и стал обуреваемый писать?

«И с той поры за мною

Не приходил мой (!) черный человек».

Зачем идти туда, где ты давно обжился, где пишешь кровью побратима? На вид чернила. Когда кровь смертная стечет неповторимо из восторгов боли и праздности побед, тогда изыдет черный человек, тогда явится белый старец в одеянье белом и молвит взглядом «будь готов, сейчас раздастся бой твоих часов». О том Сальери не узнает. А Моцарт? Он играет, рад, что не надо расставаться с работою своей, «хоть совсем готов уж Requiem».

Он победил. И совестно признаться... В чем?

Нет побед без бед. Есть в каждом черный человек. Не каждый мог, увы, не каждый сможет, его преобразить в тот белый смерти Ангел, который позволяет тлен избежать и прах стряхнуть, души оставив лиру живому миру. Другому, по наследству, «без налога и юридических бумаг», за так передается черный человек из века в век.

Как Моцарт-Пушкин это понимал в году 1830? Победенный, но живой, в сопротивленьи цепкий, как репейник, пиранья сладкой плоти, мой черный человек повсюду рядом, днем гонится как тень, ни днем ни ночью не дает покоя. В июле 1835 года Пушкин исповедуется перед Вечностью:

«...Я осужден на смерть и позван в суд загробный -

И вот о чем крушусь: к суду я не готов,

И смерть меня страшит...»

Сальери напряжен струной до предела с начала второй сцены. Решимость убийства взведена до первого малейше удобного случая инкогнито. Тут разговор заводит жертва о Смерти и признается в подозрении, что

черный человек Его меж сих двоих друзей, служителей высокого искусства, сидит «сам-третей» (не трет-ий). Каково услышать дивное прозрень убийце, готовому к разящему удару? Как практик истый, сухой и точный аналитик (и палач-хитрюга) Сальери переводит разговор на тему беззаботных наслаждений методом разделения дум пустых и реалий твердых, ребячих страхов и истин взрослых и мужских. Рассей пустую думу, страх ребячий шугани! Так упрекали Гамлета в угрюмстве затажном родные. Все смертные, и Отец, увы! — Он Гамлет, более чем я, король — чем вы, чем вместе мы.

Брату помогая, Сальери примером призывает советов мощь другого брата своего. Брат брата моего — мой брат. Смешливы оба — Бомарше и Моцарт. Вдвоем Вы славно сочинили «Тарара», я в счастье все пою один мотивчик Ваш: Ла ла ла ла!

И тут же, неотступно и все ближе и точней: а правда ль, Бомарше кого-то отравил? Сам-третей, твой Сальери и, значит мой, приятель? Принц датский признавался, что нет преступления такого, которое не мог бы свершить

Что делать припертому к стене? Сейчас за руку схватят, не шевельнешь мизинцем.

«Не думаю: он слишком был смешон

Для ремесла такого».

Смех, юмор, ирония, особенно о «я», — защита славная от преступлений. Сатирой, шаржем, эпиграммой бичуй, коль слада нет с обидою и гневом, правь живо-го. Убийство — обоюдоостро; сомнение малейшее, что исправим был тяжко преступивший, что не повторит боле и ценою своей жизни он искупал бы кровавое деянье, мстителя заест, будь трижды в справедливости формальной и официальной он облачен. Себе он станет палачом. Не потому ли после «мышеловки» Гамлет не жалеет Клавдия, жалеет, открытого на молитве перед ним «пятой» (спиной) Отца убийцу?

Сальери, аналитик, слишком понимает тяжесть убийственного греха. Мышленьем должно виртуозным ремесло такое подкрепить и оправдать. Недаром мысль моя трудилась. Смешно, про Бомарше, придумать надо...

Хотел Сальери рассмеяться, шампанского бутылку откупоривая, да в горле смех сухой застрял.

Ударом невзначай, касаясь мимоходом в единой точке едва, ненароком безумец и гуляка праздный разрушил все построения серьезного ума. Нет правды на земле. Но правды нет и выше – тезис ясен, как простая гамма. Однако синтез (сразу, без антитезиса) неоспорим живительностью солнца для земли.

«Он же гений.

Как ты да я. А гений и злодейство -

Две вещи несовместные. Не правда ль?»

Рождающий самоутверждение жизни светлой, теплой сознательно, целеустремленно, не может разрушать. Не без зла удел земной, на Солнце созиданья пятна есть, но мышца всеобщего, разум, дарами своей мощи не должен в услужении быть у Отрицанья застывшего в себе самом. Крепя его, себя он разрушает. Какой же это разум, так железка, подручная любому делу, влекомая в направлении любом.

Выстрел. Пробка взмыла, искрясь и пенясь, ливнуло через край шампанское. Салют! Смеялся от души, забыв о сам-третьей, Амадей. В нокаут падает Сальери:

«Ты думаешь?

(Бросает яд в стакан Моцарта)»

Не Изоры дар, бросается Сальери ядом сам. Все в нем шипит: «Ну, пей же». Пей яд любви в бокале дружества высоком. В нем тайное паденье из сердца излилось.

Виденье миг остановило: Гертруда пьет успехи сына с Лаэртом в поединке. Клавдий знает, напитан смертью кубок. Чтоб мышеловка шлепнула мышонка, король заздравный кубок роковой наполнил ядом. Как брату ране освеженья племяннику любимому желает.

Но пьет Гертруда, пьет Любовь, из-за которой злодейство черное так умно, скрытно затевалось. И удалось, непобедимого Гамлета-отца, старшего в роду, Клавдий победил бесшумно своими слабыми перстами. Все удалось: и трон, и королева, и царствование без войны, наполненное миром и театром. Все, кроме сына Гамлета, в безумье впавшего. Лаэрт римлянин благородный, мстящий за отца и за сестру клинком отравленным, и кубок с ядом, уставшему иль победившему бойцу, сейчас к отцу отправят сына, сольют в едину Тень их жизнь, как имена. Вдруг пьет Гертруда... О, женщины, каприз Вам имя. Какое вероломство! Все рухнуло, все сгнило, все из черт не стоит ни черта.

Шипит шампанское узорно в жизни чаше. Чарует Моцарта. «За твое

Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

(Пьет).

...восемь. Девять, но...

Сальери Шевельнулся. А Моцарт уж всю игру играет реквием.

«Ты плачешь?»

За много лет, тяжелых и суровых, не камень в верх таша Сизифом, Сальери вниз стекал слезою: «и больно и приятно». Вначале возвращенья, еще не понимает он, что Рубикона берега разъяты ныне неисследимым Океаном. «Как будто тяжкий совершил я долг», — инерция былого. «Как будто нож целебный мне отсек Страдавший член!» — ясней скажи: всю жизнь, нарост весь после детства. Пока здоров был организм, орган невольно слезы исторгал у мальчика, переполняя душу вдохновеньем сладким высотой, полетом очищенья. «Друг Моцарт, эти слезы...» мне счастье детства возвратили. Сменялись надо мной другие дети, не понимали взрослые «слезливость» — «Не замечай их», Сальери не преста-

ло... Не до меня сейчас мне самому, последний слушатель Моцарта молит умирающего Бога: «Продолжай, спешి Еще наполнить звуками мне душу...».

В миг сей Сальери гений. «Мой Реквием» переживает. Он слился – благодатная слеза – с Моцартом.

«Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии!»

Внезапно Моцарт является как реалист:

«Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству»

Век 19, 30 год. Гимназисту в Трире лет 12. Решать он будет проблему совмещения царств необходимости и свободы, даруемой для высшего развития гармонии, индивидуальности, сокрытой в каждом. Пока

«Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Едино прекрасного жрецов.
Не правда ль?»

Пришел в себя Сальери: высохла слеза, звезда трепещущая не пала, испарилась. Он снова путник горных сумраков, вершины многие под ним. А значит... Целебно долга совершенье, проступают яды дружбы и любви. Смолк Requiem Моцарта.

«Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.

Прощай же!». Прости за сумрак. Встреча нова на заре. Любезная обманность, дружества туман – «До свиданья». Где свидимся - в аду? раю? Взирать сквозь бездну будет каждый на антагониста Вечность? Правдоподобнее: смешает прах слепой в едину кучу равно творенья гения, злодейства подлеца и прочая, и прочая, коя свистала жизнь не мучаясь вопрошаньем бытия. Сим Каи не икают, каинствуют чаще не с предумышленного зла.

Один: Ты заснешь

Надолго Моцарт. Ай, Сальери. Тебя проказник заразил, или душа бессмертна? Да ты разметан беспокойством, освистан — ни разочка мимо — хором возражений серьезности рациональной Режиссер.

Но ужель он прав,

И я не гений? Гений и злодейство

Две вещи несовместные». Неправда!

Есть Неправда, как исключительное исключенье, в любом законе есть. Бонаротти умертвил натурщика, чтоб обессмертить в камне умирание Христа. Грош плоти, сломанной чуть ране, за вхождение в Вечность — пустяковая цена. Жаль одного из массы безыизвестных при жизни потерявших тела красоту? Неправда: добровольна жертва; это — перст указующий судьбы, прекрасно-му нетленному Служенью.

«или это сказка

Тупой, бессмысленной толпы — и не был

Убийцею создатель Ватикана?»

Ты больше сроду не заснешь, Сальери, в мучительном бреде изредка будешь забываться от истощенья полного. Родные и друзья для твоего, как кажется им, блага тебя из пропасти вновь извлеку... и вновь... Началось ада началось.

И мне покоя не дают проделанные перечтенья. Я не продвинулся ничуть к разгадке зависти рожденья. С иным акцентом, тщательней в деталях кой каких и с бездной упущений литературоведческих и прочих кружусь, как белка в колесе. Без толка. Его крупичками находок наслаждался, пока при чтении очередном негаданно их я обретал. А в целом?

«Какая глубина!

Какая смелость и какая стройность!

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;

Я знаю, я...»

Что за шутки? Кто Моцартом назвал того, кто слуха не имеет? кто в двух нотах трех меньше раз почти что не фальшивит? Изобразить Сальери из себя кто смел? Кто знает?

На оклик обернуся... глазам, ушам, всем потрохам своим не верю... Пушкин хохотал! Так добродушно заливался! Смуценье одолев, я принял угощенье: вдвоем мы хохотали от души. Устали наконец. Стирая слезы (жаль не сохранились), стал его пытаться о целом... Он силы у себя нашел, чтоб прыснуть вновь, хоть взгляд слегка потупил. Я догадался – тайна все же есть. А я наживку заглотил – без червяка, на голую блесну, как в сказке о старухе, – и годы долгие болтаюсь на крючке. С жаром стал его молить, о чести с благородством распинался. «Видно, друг мой, здорово попался, – руки потирая, Рыбак промолвил, – надо пособить. Моцарт и Сальери...».

Срезал изъяснение самое святое дребезжащий звук. Сосед разрушил диалог такой, такую встречу испортил своим начавшимся уроком. Фальшивых нот рок надо мной витал. Я взбеленился: Александр Сергеевич пропал. Хотел взгреть мерзопакостную мелочь, но эхо пушкинского гласа меня с дороги мщенья увело. Как Одиссей, спеленутый и ставший мачтой, внимал Сиренам, так и я все повторял название драмы: Моцарт и Сальери...

То эхо подключило прежнюю методу: ум разгадал – немножко! – тайну сказки, сосредоточившись на названии. Гаммы музыканта стихали в напряжении сознанья моего.

Что получалось? Сравнение Моцарта с Сальери и Сальери с Моцартом. В начальной сцене доминирует Сальери, что противоположно первенству Моцарта в имени драмы и смысле ее очищающем и возвышающем. Моцарт – ее середина, но не преуспевающая и более того подтверждающая правильность хода мыслей и оценок Сальери. Шутка не удалась, задержался из-за

неумехи музыканта (сосед знай наяривает свои гаммы, как не надоест? Есть надо, надо есть). Правда, приоткрыл, что все не так безоблачно в нем, что волнует его счастье тайны гробовые. Но ведь посчитал свой опус безделицей, наброском двух-трех мыслей, записанных за пару минут. И разбудил в Сальери тень светлую любви. Сальери не рядовой ремесленник, он высокий Мастер высокого искусства. Гармонию он алгеброй поверил, это — сложная штукавина, не арифметика, не тяп-ляп, вкривь-супротив-наперекосяк. Алгебра отличает профессионала в толпе любителей и самоучек с тугим ухом, алгебра позволяет переучиваться, когда исходные меняет Глюк. Слишком тривиально все сводить в плоскость зависти менее даровитого к даровитому более. Кто, кроме Сальери, сразу узрел в Моцарте гения? Немногие, к кому Моцарт принес свою песнь лебединую? кто слился с автором в прощальном клике? И все же зависть неотвратимо взошла на высокой ниве. Все же прозрачные выси сгустились и выбросили ядовитое жало в своего предельно совершенного обитателя, не дали Ему излиться изобильно во всех скорбях и радостях. Где ж зависти исток в даровитых служителях высокого? Игра природы? Вряд ли: создатели полны несовершенств, характером трудны, капризы их ставят под большой вопрос наличие орлицы-воли. Божья благодать? — Не буду спорить; Отца в покое оставляю. Попробую искать отгадку своим умом. Такое чувство, что где-то рядом спряталась она, ее дыханье чую. Искать, искать, не зря же Пушкин заявился. Он первое сказал, от смеха отдышавшись еле: Моцарт и Сальери.

Исползал сцену первую, теперь вторая вновь открывает объятия следопыту. Страшно: один герой умрет, второй в сомнения свихнется. Не оставляй меня, Надежда! Крепи Любовь и Вера Жизни!

Солирует здесь Моцарт в соответствии с названием. Убит, еще не умер. И не умрет. Заснет. Заснет душа его в заветной лире. Душа бессмертна. Но... но бывает спящей. Прекрасная невеста, в гробу хрустальном тело ждет жениха. И каждый, в ком есть царевич Елисей, спешит – коня, коня! Все царства за коня! – на помощь ей. Сольются в поцелуе, засияет жизнь! А в зеркальце простое, мертвяще гладкое, «я» лучше не глядись: найдешь и краше и милее; остервенишься злее змея и яблоко «моченое» всучишь, кто подвернется справа, слева. До омертвения отравы изъест тебя, и труп живой с забитой, спящею душой ты до людей не дорастешь. Пасть-нежить пропастно живешь, хоть суетно все горы обойдешь.

Моцарт, уходя, убийцу приобщил на миг к переживанию чело-вечью. И казней адскую казнил не переставших сомневаться в несовместности высокого рождения людей и злодейства (тут разума до-спехи – с плеча чужого, жмут, не единят – сжимают, прискакивать нудят в решительный момент).

Теплее, ближе, но где-то в стороне. Томлюсь о спящей раскрасавице душе. Где, где ее исток? добра бодрящий дар и твердь?

Соседи застучали по трубе. Для музыканта трубный глас раздался предупреждением грозным. Их раздражение бушевало морем черным. Не ко всем, как к чудаку, пристала неотвязно тайна Моцарта и Сальери. Соседи прочно на трубе сидели. И, наконец-то, сбили меня с бывшего хода. Без злобы вывалился я из седла... мелькнула детства иноходь...

Ба! Каков сюрприз, ну случай – бог изобретатель. В миг трубного удара я горд был за себя, читатель. Считалка детская мне подсказала путь, я второпях мог мимо проشمыгнуть. Раз сто задумчиво угрюмый шел мимо, твердо зная: хода нет, бессмыслица, тупик. «А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало. Кто остался? – И».

Конечно, корень не Сальери, не даже Моцарт сами по себе, не изоляция их друг от друга, а связь. У Моцарта «и» соединяет, созидательно. Он видит гения в Сальери, а человека черного в себе. Возвыситься другого унижением не для него; он по ногам (по головам – и не подойдет к уму на выстрел пушечный) ступая, толкаясь и сшибая, за славой и презренной пользой ни-ни-ни. Дарами жизни низкой (не низменной) Моцарт насладится может всласть, коль будут деньги и друзья; и привилегию свою («праздность») он ясно сознает. Итак, возрастая путем ущербности, изничтожения другого не будет Моцарт никогда. Сальери также трудолюбив и не завистник славы, справедливый судия маститых. За исключением одним. Где Моцарт сделал гением его, там Сальери отравил, не вынес бремени другого возвышения и себя другим. «Я» сохранил «великолепное презренье» (Ахматова) к тупой, бессмысленной толпе, к дарам без счета благодати от Друга, Брата. Вот в схождениях где точка расхождения, вот в тождестве творимом, где Моцарт есть Моцарт, а Сальери есть Сальери, где им, соприкоснувшись, не сойтись никогда: стена прозрачная, невидимая, непробиваемая их разделила. В миг прощальный треснула конструкция жесткая (слишком жесткая!) под слезой мальчишки. В шипенье яда испарилась, стена навек застыла, вновь непроходима. «Мы» в неумелости на ней скрежешет, там все равно, чей дар, как пользоваться им. Сальери режут слух. Оглухнуть бы.

Итак, «и» – есть единство, единство тождества и различия. Единство «и», двояко данное: одно соединяет позитивно, другое же – антагонистично. В первом часто подмечают лишь тождество, различие тогда единству вредно; отсюда тождество с единством лишь тождественно, одно и то же есть. От Моцарта различье низкой жизни и высокого искусства отнюдь не скрыто, он напряженно их соединяет в оптимизм, родящий то

радость счастья, то скорбь о невозвратной жизни — точнее, одно в другом. Сальери склонен однозначно определять, что высоко, что низко и сказанному следовать последовательно, жестко, отменяя и сметая различья из того, что только тождеством едино. Неустрашимого различья истребление раскалывает все на однородноплоскостную чистоту — здесь высь, здесь низ — и держится не объективностью, не «нейтральностью» определений, а на презренье их собой гордящегося тождества-единства «я»?

Хотя чему гордиться? — изоляцией стерильной, тенью совершенства, изъятой из таинства рожденья? Чем выше восхождение к неразличению тождества с единством, к целости такой, тем более камней за пазухой души сурово справедливой. А камень в пазе уха — глухота. Когда же слез слезой Сальери, сопережил почти невольно, рассудку вопреки другого Requiem как свой, как всех и каждого — он гений. Пусть не сам еще, но частица общей помощи другому, здоровый друг союза искреннего полной жизни, где совершенству место есть, где целое благое в единстве РАЗ НЫХ ЛИЦ произрастает — Истины, Добра, Красы.

Итак, Моцарт — соединительное «и» единства тождества с различьем. Сальери «и» разделительное, целого раскол на тождество-единство, различье гонящее отовсюду вон. Но по сему всегда с ним сам-третей: служитель вечный он не целого, не единства, антагонизма застывшей в изоляции друг против друга разности двух несовместных полюсов: один зовет «я» «тождеством», «различием» другой. Службист раз-носа заносчивый, высокомерный Сальери.

Вот разница меж ними. Вот что не видит Моцарт доверчивый и простодушный, влюбчивое «эхо» жизни, ничтожный сын низкого, низменного редко, света, пока не требует поэта в стихо-твореньи хаос причесать, услышать и с другими поделиться космоса гармонией, ее

продлить до вечности в человеке, растящем человечность. Сальери видит «бревна все» и может примириться с ними, но соринка, которую он чувствует в глазу, ему покоя не дает. Все те же ноты, а усилья несравнимы с гулякой праздным, шутником. Бросит он бездельницей небрежной две-три мысли и ты сражен музыкой божества. Так просто все, как сказано за всех, и всем, и каждому. Непонятно, как виртуоз, профессионал, как справедливый мастер не догадался сам, почти вертелась та мелодия простая на уме, витала в воздухе... Не хватило малейшей малости — живого в-дохновенья. И так из раза в раз. Разность повторяет эту невозможность и Раскольников из-под брони служенья, самоотверженного, истого, высокому встает... иль падает? Кто в занебесном разберет где верх, где низ, где дух падежня, а где взлета дух? Рассудит дар любви.

А в ней Сальери обречен. Он от любви отрекся ради музыки как от докуки, отсека целебно член страдавший бесстрастной аналитики ножом. Трещина меж тождеством с различьем, оптимизм единства коих завязывается целости прорастающий зерном, в нем стала пропастью неодолимой, а искусство — бездной, где можно вверх тормашками лететь, гордясь великим возвышеньем. Детей нет у него. Изора подарила яд. Однажды, правда, смешливый Бомарше подвиг его на ла-ла-ла-ла.

Тут соседи победили. Замолкли трубы вместе с музыкантом. Тишина. Почуял всем нутром: в работе в общем лад набирающей чего-то все же недостает. Наверно, покурить сейчас зайдет мой «замечательный сосед».

«Привет, тебе привет!» Взаправду замечателен сосед. Его игра нескладная, других соседей трубы, укусы комарих и гоготание лягушек и многое другое меня толкало в сторону разгадки. Сам Александр Сергеевич явился, чтобы на блюде поднести... Нет, очень вовремя ушел (жду с сумасшедшим нетерпеньем!) сам яблочко взрасти. Снеси яичко — хочь простое, хочь золотое. Спасибо, Пушкин свет, спасибо люди!

Проста отгадка на замечательный секрет. У Вас, конечно, может быть другая, лучше – в смысле том, что Вас по жизни мудростью питает. У каждого своя неповторимость: направленности, ритм, тембр и темп. У Пушкина слова, произведение – магический кристалл, в котором каждый вычитал, что сам читал. При этом все же с первых строк читал авторский зарок. Сказал же Пушкин: Моцарт и Сальери.

Я думаю он умолчал – с хитринкой добродушной и смешливой – о том, кто «и» соединительное воплощал. На сметливость и работу в наслаждениях духа Сверчок подставил Моцарта на первый план. А кто еще? Сальери? – нет убийца не может и не должен продолжать единство тождества с различьем; напротив, Моцарта убив, толкает нас к вопросу он: наследник кто? Где Моцарта исток? где продолжение? Бог! Отлично, спора нет – велению бога Муза будь послушна. Двое их: создатель-автор и Творец. Есть ли третий? Есть! Народ, он не безмолвствует, он отвечает на женья гением сердец глаголом. Он играет. Плохо, фальшиво. Да сразу разбирает, кому внимать и следовать за кем. Не почитают камни, в камне живые люди почитают. Несравненно лучше, когда при жизни автор видит, что стало произведение его как воздух, частью жизни, что в-доху в тяготах оно немножко помогает. Слеп музыкант – народа это мудрость. Хотя в стихо-творении не Гомер, за паз-ухой камней не держит, пыль не страшна души его очам, его пылающему сердцу. Не мог, не мог, не мог не остановиться Моцарт пред музыкантом у трактира, не мог не привести к Сальери показать, что оперное – высшее – искусство не чуждо бедным, нищим людям. Да грубо, неумело играет он мелодию, не понимает, что исполнение ее ему не по способностям, не по мастерству, но Третий – он. Не сам-третьей, а равно – Главный.

К действительности объективной отношенье разделяет субъективность Моцарта от субъективности Сальери. Нет «субъективности» абстрактно-равнодушной, «вообще»-вотче. Одна едина с жизнью, органична и в тождестве и в различьи с ней, другая «вещь в себе», блюдущая свои чистоты рьяно от сора жизни. Да, Сальери создает великие «вещи», ценимые профессионалами, их ценит Моцарт ничуть не ниже и не выше своих. Но вне специализированной тусовки – профессионалов (гордым, амбициозно-агрессивным «я») и публики, с ума сошедшей на высоко-модном – вне аквариума довольно тесного, стерильного чрезмерно вещь «гениальная» мертва, окаменевают, душе дыханья сочной жизни не дает. Душа не вещая душе другой – вещь. Господином иль слугою каменным в том, что животворяще, она не «высока» (напомню, в небесах нет ориентиров низа и высот, есть жизнь и нежить, гений и труп ходячий, пряно-тленный, законсервировавший смердящий запах разложения холодом, формальным изыском блестящим. Тшетно, бес – на сердце хромо).

«И» третье в соединенье продуктивном – музыкант слепой. На слепость Пушкин проверяет читателей своих. Рыбак умело сети расставляет: вот невод, заплыви. И золотой рыбки обладатель будешь, и в Льве Златом пируй царем с царями. Но и ловушки творчества не забывает поставить: там бродит пустота, там тина и трава морская. Там не-вод, т.е. то, что заводит в заводе часто не туда. Без «не» не будет «вод». Стара так Парка лепетала, век от века оберегая дар создания жизни. Такова звезда. Согласен... надцать лет с хвостом, да с возом и тележкой на износ поневодится, не-весту выручать – сойдемся и подружимся, водиться будем не разлей вода. Перчатки белы? извините господа.

Нет лишнего у Аса ничего. Без музыканта Моцарт Сальери лично, явно перевесит, но что с того? А с ним? Среди нас он даже не заснет, он – памятник нерукот-

ворный нам и наш, взволнованная совершенством жизни других волнующая им же ее же светлая струя. Родник живой родного.

Но как мог Пушкин так промахнуться: эмпирически Сальери не убийца. Ужель не предполагал, что выстрел может оказаться холостым, авторитет его Поэзии ославит невинного черным дымом? Все так – в истории сухой, на точность строгой – промашка. Пером написанное топором не вырубешь.

Иль так не всё? Имел в виду другое нечто Александр? Писал о музыке. О типах связи музыки и жизни, на стороне был изначально, без страха и упрека жизненности музыки и музыкальной жизни. Я постарался в меру сил проникнуть в жизненность музыки, а музыкальность жизни, увы, ютилась тихо в стороне. Пора пришла сквозь музыкальность слова на смысл истории взглянуть. «Моцарт». Согласимся с установленным: он орган божественный, живой создатель живого совершенства жизни. Мощь его вместе вмещать посюсторонность праздности и низости обычной жизни и потусторонность чуда живого Образца: человеческое в челе земного века, в людях вещих, полными забот и отнюдь не чуждых совершенству. Он – небо, но не Бог (совсем поту-*анти*-сторонний ради чистоты высот, как исчислил Сальери). Он – царь. Он – царственная мощь всех, из всех, – и всем – и каждому – сколь и когда захочешь, как не-водить сумеешь сам. Стоит, иначе невозможно само Быть и в жизнь прибавленьи вечно пребывать. Он – Твердь сего. Поверим алгеброй гармонию, сложим: Мо-цар-т.

Конечно, это композитор там и тогда живший, любимый Пушкиным. Но более он – царская незыблемая мощь, твердыня стихо-творения, космического укрощения хаоса, сплетенье нитей в узоры, латающие «бездны», порухи и прорухи низких сует и головокружений в одностороннем «восхожденье ввысь». Моцарт имя заслужил такое.

«Сальери» – кто? Сало? Ломоть гордыни тучной. Бес, вселившийся в свинью? Серьезным рылом смех давящий жизни? Не исключу. Убийцей, злодеем «без вообще» через сознание, на логике струне формальной не прочь поигрывать на отдыхе от адских дел. Но труд? И Мастерство? И справедливость в дружеских делах, за крупницей исключения? Заслуженная слава? Конечно, Сальери – соль. Профессионалов пота и труда соль. Как судия меж ними общепризнанный – соль соли. Замечательно, осмысленно звучит «ери», даже «ер-р-ри». Соль-ер-р-ри. Солист профессии высокой, Мастер. Пренебреженье к жизни остальной, неверие в достоинство ее «соль соло» отсекает благодатность веры: нет «в», «и» – нескончаемый, бессмысленный конец: в-ера! И ер-р-ри... Злость закипает на того, у кого совместны плоть с небесами, кто, стало быть, не так серьезно, самоотверженно (жженно, горло с гарью) предан Искусству, не всецело в соль ер-р-ри погружен, по пустякам разменивает гений (или «гений» – поверхностно-плотское, рассудочное определение профессионала «от и до»). Соль начинает не солить, хранить-спасать, а разъяренно разъедать все, что мешает «высокому», что темница «воли» к заоблачному, не-бесному).

Соль ярости, разъ-ядание Друга, ибо он свой, но другой, мешающий, порочающий чистоту «Я», единственного, неповторимого в тождестве. На самом вы соком пике совершенства нет места для двоих. Соперник должен умереть. Позволено ниже «лежащим», во прахе ползающим жить и Нами восторгаться. Снисхожденье, великолепное презренье. Но бес без усталости тогда играет на не-бесном земного супротив. Двойное «не» не «да» всегда. Соль ярая не замечает, что в миг нет ни труда, ни пота, ни искренних союзов, ни славы всенародной, есть Сало. «Я» в профессии дороже Неба и Любви. Пах уха каменеет. Музыка нема. Гений – «х», но касте угро-

жает. Отравлен Царь на дружеском пиру, твердь Искусства лавиной сыпется в зыбь пустоши. Сомненье остается: я не гений.

Иль сказка для тупой, бессмысленной толпы, не для меня?

Боже, не про меня ли, не для меня ли Пушкин рассказал, не боясь о факты споткнуться, в фантазии приврать? Ужель я гений? Мо-царт – мое царствие, твердь творчества души. Сальери в «я» сегодня я обнаружу много больше и салности солено-ядовитой, яро-ёрной, не отстраню, выжать бы две-три капли. Но суть понятна, моцарт и сальери – это «я». Сыграет ли мелодию души трактирный музыкант? (Стучатся в дверь) Кто там? Мой замечательный сосед? – Нет. Гость каменный! Я в обморок упал.

ПРАЩА ЛЮБВИ

От нашатыря стал понемногу в сознание приходить
С заботою горячей настырно меня тряс незнакомец:

«Очнись же, трус какой свалился на бедную главу мою. Светает, время уходить. Ты много угадал, о рыбачке и рыбке, по-своему поведал музыки творенье. Ты — тот, кто мне поможет не являться боле во мраке ночи незванным гостем...».

Мужчина статный стал быстро удаляться. Последнее слышал я: »...мучения музыки одной любовной страсти уступают... о-моги!...ла-а...».

Вновь должным одолжен смиренно суший.

Взрыв, полетел стремглав за ним. И очутился где-то от дома далеко. Из воображенья пушки бароново ядро меня забросило куда-то по невозможности кривой, разрывной курчаво кувыркатой. Куда? Соображаю туго, как баран перед воротами. Ну, да — в ядро любви, Мадрит! Затылок почесал, едрит тебя едрит, из тайн мадритского двора, из их страстей пороховых живым не выбраться. За диву ладно б, но Кармен еще не родилась. Жуан (уж я не сомневался, что он втянул меня в свои капканы) разберется сам — в делах амурных равных не сыскать ему на свете. И поделом воздастся гранду испанский грант великим Командором. Пора, мой друг, пора -пешком, ползком — в скромную Россию.

— Ключ, ключ! — стражник грозный, вооруженный до зубов ворота мне не отпирал.

Отроду не имел ключей мадритских! Что за напасть? Рядил, гадал. Совсем стемнело. Незримый, со стеной градской как будто слитый воедино, стоял я камнем. Нежданно слышу.

«Дождемся ночи здесь. Ах, наконец
Достигли мы ворот Мадрита! Скоро
Я полечу по улицам знакомым
Усы плащом закрыв, а брови шляпой.
Как думаешь? Узнать меня нельзя?!

Вскипел я: не узнать! Из-под земли достану! Ворочай назад... — Ни звука, хоть нутро все извергалось в крике. Каменны уста. Обычны слух чуткий, мысль пытлива, все остальное не годится никуда. Слез горьких и скупых мужских нет плакать над злосчастною судьбою. Я обречен гадать о подвигах повесы, помочь ему смертельной длани мщенья избежать. Мужская солидарность — дуэнья на дуэлях преступной воровской любви.

Вот, вот в чем загадка. Так можно сформулировать вопрос. Божественный Дант в наивысшем озареньи воскликнул: «Любовь, что движет солнце и светила». Что составляет жизни суть прекрасную — такую, что без нее она без соли хлеб, сухой и черствый, чужой рукою данный, чтоб существование ущербное едва влачить до гробового часа (нельзя нить чахлую своею волей обрубить). Имеет ли любовь границы в себе сама? Цены какой не жалко заплатить за огонь страстей в сей жизни брэнной!? — пыталась еженочно Клеопатра сильный пол. Но царский трон давал возможность ей условие ставить, цену назначать и собирать неотвратно плату. Заране знали хабрецы, что нежит их, и холит, и лелеет Смерть, что жизнь полнит искусство пряное прелестей Змеи, затейливо ядовитой. Любовь вольна, ей нет условий. Побед сам добывается Гуан. И все же есть та грань, с которой драма разлук и ран любви, ушедшей рано или несвершенной, возвращенной благородно, с нравуче-

нем даже, становится трагедией — в игру в-ступает тяжкий рок возмездья. Отныне неизбежно до смерти «обдернется» испанский гранд.

Эдип и сфинкс, отец и мать. Загадка вечная, нет совершенного готового ответа: сожрал бы получеловек отгадчика, остался б жить отец и ложе матери б не освернилось сыном.

Нет драмы, на беду, в печатном виде. Да как бы смог ее листать рукою каменной? Впечатленья придется вспоминать от прежних чтений. Опыт, сын трудного боренья и ошибок, шепчет: имена. Моцарт хохотал над исполнением мудрым музыкантом из «Дон-Жуана» арии. С имен начнем искать отгадку. Любви исполина звали Дон-Жуан.

Дон? Дон-река, бескрайней вольницы берега, раздольное мятежное течение. Любовь вольна, а Дон Любви вольнее воли. Он — самое само любви вольной. Да, Дон — ОН. Он, кто только здесь и нужен, никто другой. Дойдет до дня любви бездонной Дон. Он — Дон любви вольной и вольности любовной. Все и ничто, противоречие гордиева узла, неукротимое стремление в погоне за недостижимой целью. На миг обнял он необъятное и прикоснулся дна едва — а цель уж пяткою сверкает на легкой горизонта грани. Непобедим в любви, в любви неутомим и, увы, неутолим. Всегда границы нарушает дерзко, безоглядно. Все что препятствует, мешая, сопротивляется его клинку любви разящей иль в панике бежит с дороги прочь, иль в прах низвергнуто. Любовь — исток, мятежный и кипящий, цвет бурлящей в вихрях жизни, ее и вулканическое сердце и вершина горная; все вне нее, вне связи, отдаленной и самой косвенной и слабой, с ее Величеством отринуту должно быть прочь, как сор, как пыль с прекрасной Были, лучезарной в сиянии Солнца. Жизнь, истина и вольный бесконечный путь. Такова Любви мужская половина.

Тут я припомнил нечто. Старик скрипач не может без фальшивой ноты. Наш Дон не Жуан, Гуан. «Г» звонкое и твердое сменило у Пушкина ж-желание любви, ее несмелый, робкий опыт первый и страсти разгорающуюся тягу. Г-отовность за любовь на все, на все во Имя Ее г-одность — таким в Мадрид является герой. Его клинок Любви всесильный не одного отправил соперника на тот свет. Из врат у кладбища он возникает.

И-не-за, бедная жена. Нельзя ей за порогом дома, по верности закону, искать любви наслаждения. Пусть муж суровый негодяй, пусть взор печален и губы уж помертвели, не должна пятнать позором брака брак святой Инеза. Как молнией из черной и гремучей тучи, метнули черные глаза в статью Гуана! И где? В монастыре, среди усерднейшей молитвы, из покаянья тянувшегося в высь. Сердечно сокрушенье громыхало о силах — беспорочно помощи дойти до смертного одра... и грянула любовью ис-ступленья в сад райский в миг греха.

Дон Гуан ее добился и глазом не моргнув. Лепорелло простоватый обряд ухаживания принял за в три месяца осаду, а победу — в июле... ночью (заступись ты рожь высокая, тайну свято сохрани) — за помощь — насилие! — лукавого. Ее мог сразу приголубить Дон Гуан. Любая крепость не преграда, замок любой — молчанья страж, хранитель тайных встреч от мужа, от толпы. Испанский гранд — невольник чести, дамской же вдвойне. На «ять» он роль сыграл. В любовном поединке взаимно честь не пострадала; как в шапке невидимке мужнины рога, ему ума достало в них не трубить и молчит молва.

В Гуане сердце человеческое слишком. Инезе он уступил из сострадания, у сени гроба подарил на летнюю ночь одну Любовь. Была, конечно, страшная приятность для гурмана в любви Инезы. Поздней самой осени прощальная улыбка. В ней истинно прекрасны одни глаза, но для любви, пылкостью живой, прозрачность со-

зерцанья так призрачна, а голос уверений столь слаб и тих... Прикосновение — не то сиянье, не то прости-прощай, прощай.

Жалений долга призрак долго-долгий тяжеле тягот вулканической любви. Красавицы живые Гуана проще и дарили и, насладившись вволю нектаром жизни, своим путем спешили без оглядки. Среди цвета женского Гуан предпочитал родных: южно-томных, темно-страстных, вакханочек смазливых и смешливых. А жены севера? Слуга покорный от них, как черт от ладана, бежал. Они сначала нравились Гуану

«Глазами синими, да белизною,
Да скромностью — а пуще новизною».

Но быстро Дон дошел до дня: в них жизни страстной нет, все куклы восковые, с ними грех и знаться. Да, слава богу, Дон Гуан себя отгородил от блеклых, дымно-скучных, чопорно-холодных див.

(Я догадался, что рукопись фрагментами стал вспоминать. Дела, видать, на ладный ход вставляли).

Как ту звали? К кому по улицам знакомым рванулся Дон Гуан? Лаура. Да-да-да! Любви в жизни нота «ла». Сальери вытравить ее не смог, мгновенно в суровом сердце ожила в «Тарара», мелодия ла ла ла ла, когда веселый Бомарше, его зазвал на дело. Моцарт все ее твердил. И Дон Гуан стрелой летит, прашой любви к Лауре, славной в искусстве музыки. Ла-ура. Ла! Ура! У ра-дости жизни «ла» всегда. Лаура, бесподобная Лаура! Где б ни был Дон Гуан, к тебе он в миг, свободный, первый самый, вернется. Он вертится вокруг Тебя, всегда тобою полн, волнует(ся), струится в Музыке твоей. Слуга покорный, рыцарь верный, любовник страстный, сгорающий, как Феникс ясный, в Тебе, в Тебе Одной.

В любви Лаура Моцарт. Нет более, чем он. Она венком венечным вечно вплетена в гармонию рождающей жизни, поклонниками окружена и нет завистников у ней. Полно ревнивцев, готовых сжечь дары

земного бытия за единенье с ней в уединении райском. То омрачает жизнь ее, но Клеопатра не Она. Их к безрассудству, к драгому приношенью жертвы ревность побуждает. Среди ревнивцев самый первый, конечно, Дон Гуан.

Ее Поэт! Его Слова с Ее Мелодией – Песнь Песней. Их лад рождает вольно вдохновенье из Сердца самого и Жизнь переполняет Восторгом! Быть не может совершенства боле, браво, браво! Еще! Еще! Еще!

Сам Карлос тронут. Гость угрюмый, сегодня в первый раз он дрогнул: из заточенья мщения за брата он повернулся чуть к бегущей дальше Жизни. Ла-ура! Лучик тонкою иглой ему вонзился в сердца камень. И в пропасть темную низринул камнепад: живил его, целил словами смертный враг. Негодяй! Его, как прах, взметнула трусость и в безопасность унесла. Непобедим, хваленый, среди дурех прелестных. Король, мой сюзерен, его сокрыл и запретил преследовать. Но в личной встрече уж я б нашел за что вцепиться хваткой чести смертной.

Гуан же не боится приказов короля, ему он непослушен. Почему? Ветреник? Отчасти. Но не в вопросах чести. Тогда причина в чем, что гранд один испанский знатный, мщения комок взрывной, покорен королю, другой же волю сюзерена преступает? Сам Гуан считает, что из любви к нему, остерегаясь кровной мести, король его отправил от столицы подале. На хладный Север рвенье остужать. Гуан считает, что он не подрывает государственных основ, убивая на любовной ниве знать: все чинно, благородно, честь по чести. Тут Дон не прав, в политике слаб он. Дуэли грандов – язва морская для цвета государства, чахлому деревцу в международных джунглях борьбы живать недолго, хило. Точней намного рядит о любви наш Гуан: король его любит. Хотя он преступник, а Карлос в традициях исконно прав. В чем тут заковыка? Испанский Король – король, да не во всем. Не всех он несравненно превосхо-

дит в делах различных. Любовь прихотливее всего — и в том числе себя — короной страсти нежной осенила Гуана, преступника всех черт законных.

Да, но Карлос, по имени славному, также король. Конечно, король. Даже дважды: король родовых правил чести и служенья сословью, государству и Суверену король. Все восхищались, как оптимально Дон Карлос их сочетал в единство цельное. Неколебим был в сопряженьи и дух времени разумно в нем судил, отдав верховенство не роду, а служенью Государю. Сим путем Дон Карлос далеко прошел и быстро поднялся, и близко, ярко у трона воссиял.

Все рухнуло: сердце брата пронзил клинок бесчестной забияки Жуана. Извождением себя в себе самом мобой крепил Дон Карлос верный королевским приказом. Угрюмо, отшельником жил: не сорваться бы с долга петель на каком-нибудь болване. В зазубринах и рже долг королю, на дне неистово шипела тишина, алкал Дон Карлос о встрече с люто ненавистным Дон Гуаном.

В музыку Лауры поэта имя ворвалось. На луч ее чуть потянулся из бездны мрака узник мести... Она же, верный друг, зовет его, любовником ветреным публично козыряет. Дон Карлос оскорбленьем разряжает все, что скопилось на него и на нее: Гуан — безбожник и мерзавец, Лаура... «ты, ты дура!»

Любви с умом связь несильна. Дон Карлос выпрыгнул с ума, за ним Лаура: велю зарезать слугам гранда, жаль Гуан на честном поединке убил родного брата, не тебя!

Крылами черными взмахнула Смерть. Женщина!.. Дон Карлос в руки взял себя, вернулся разум: должна быть Муза глуповатой: «Я глуп, что осердился».

Лаура торжествует: сознался сам муж разумнейший в глупости. «Там помиримся» — мы в глупости равны.

Отходчивая. Душе Дон Карлоса ее-то не хватает, Лаура незаметно в сердце проникает, он пьет в вине вино любви. Прими меня.

«Прости меня. Но знаешь: не могу
Я слышать это имя равнодушно...»

Хоть виновата, видно, без вины, Лаура Карлосу ответила такую плюху: «поминутно мне на язык приходит это имя». О! Если б мог, то не увяз бы Гранд Служения в Любви. Ты всем хорош, тебя Лауре жалко... Но ты за гуж берешь: не по хорошему мил, а по милу хорош. Смотри Дон Карлос пропадешь, из-за ветреной страсти, с пути служенья Королю сойдешь. А переборешь ли Гуана на поле бранном, на его коне – в Любви? Спешить с ответом погоди. – Поет Лаура. Прощальна песнь и зарево ночное впереди.

Любовь бездонна, Лаура – не донна. Она верна была бы Дон Гуану, когда не только в ее сердце, но вместе с ней, с ней близко-рядом Он всецело был. Ветреника нет. Уж как она его дарила и как он благодарен был – то слово разве словит. То можно только снова пережить. Да нет Того. Любовь же быть не может вне Любви. Лаура ищет, кто походит, кто хоть чем подобен ее Гуану, ее Дону в бездонности Любви. Сегодня музыка любви переполняет чашу сердца томленьем бездыханным, сегодня бешенством желанья мщенья Дон Гуану Лауре Карлос Дон напомнил Дон Гуана бешенство в Любви. Бранил меня за миг до изверженья ласки и сразу после, бранил сквозь стиснутые со скрежетом землетрясения зубы.

Бедный Карлос, как ты влюбился. Разве прежде, еще сегодня днем, еще идя вечер чрез силу к певичке веселиться, разве Дон гордец себе позволить мог, чтобы при нем в любви другому признавалась женщина! И кто б польстил ему, что он по нраву ей тем, что напоминает, словно тень, другого и кого – убийцу брата рокового. Теперь и слово короля не сдержит Карлоса от мщенья – на утро громы прогремят, что молнии удар неотвратимый над главой трусливого гуляки занесен.

Пока же зависть Карлоса пробила: «Счастливец!

Так ты его любила? ...Очень?»

И все пытается, что ране было — сразу видно Дон Чести в этом деле д... новичок. Зачем травить себя и ранить птицу, которая вся нежным трепетом объята и сей-час с тобой объединится в полете вольном в небесах? В любви завтра нет, как нет вчера; в ней вечны крылья-вечера.

В сию минуту Карлос — ты любим Лаурой. Ей двух любить нельзя.

Как эта девочка мудра! Который год тебе от роду? Осьмнадцать (снова та же цифра).

Свое не к месту любопытство насытил ли счастливчик Карлос? Дон Служенья миг прекрасный не прозевай! Но ум подвел: воспитанный в карьерном (благородном, перспективном) счете стал вычитать из младости года, десятки и, хорошо, что на старости седой остановился.

В ответ Лаура Карлоса стремилась вернуть в миг полный наслажденья жизни, диктаторски потребовав, чтоб улыбнулся он...

Муж доблестный впервые подчинился деве, но и остался при своем: «Милый демон».

Демон в юбке. Исполнятся сей миг твои заветные желанья Дон Карлос, сокровища родник из покрова тайн заблещет буйной кровью оголенной жизни.

Но парой все венчает сатана. В дверь ломаются, души сокровища явлены сполна: демон в скороходных сапогах на зов ловца, того не зная сам (у Лауры Карлос? Бред сумасшедшего такого втемяшить вряд ли сможет), явился.

Его по голосу узнав, не веря неожиданным дарам от Бога, Лаура бросилась на шею Дон Гуану.

Пришпоренный восклицательною немотой застыл и взвился на дыбы меж пропастью потерь Лауры и мщения Гуану, конь жизни Карлоса. До окаменелости его любовникам нет дела никакого. Целует друга мило-

го Гуан, всецело Лаурой поглощенный. Цель преступления объята, исцеляется изгнанник негой дома, смиряется в забвении покорном уютному гнезду блуждающая блудная душа.

Лауру не вернуть, дал мщению ход Дон Чести. Гуан всего лишь удивлен — нечаянная встреча — и просит отложить дуэльные услуги до утра позднего, до завтра. Он не изменился: Любовь сейчас, долг может подождать немного, до света, под которым взыскать возможно до последней капли крови.

Такой расклад лишь уязвляет Чести Дона, а упорнувшая Любовь перчит взъярившееся сердце. Будь Карлос хладнокровней, спать иди спокойно — на завтра обессиленный любовник (Лауры вклад весьма весомый в восстановление справедливости, в возвращение потока Жизни в мирные берега) навек покой бесславный обретет. Какое там... Вороны взмыли, шпагами блеснула Дон Карлосу улыбка Смерти и объяла бездны чернота.

Иного в это время — в месте этом быть не могло. Бессильна избежать убийства, бессильна на него смотреть Лаура кинулась на постель. И взор свой подняла, когда свершилось противное любви дело. Для нее непоправимость меньшая случилась, любви повеса, юбок дьявол цел остался, в крови кромешной невредим. Герой бесславный Дон Гуан — невольник Чести родовой и роковой. Пока Лаура голову ломает, что с мертвым телом делать, выясняет, как Карлос пал -исход бескровен, прямо в сердце, Гуан себя пустой надеждой утешает о живости еще смертельного врага, соперника поневоле своего. Жаль тот убит, кто одним ударом завтра утешить мог бы навсегда неистовое сердце. Искусный фехтовальщик без подозренья судей мог грудь невзначай подставить под жало ярости каленой. Клинок триумф принес бы и правосудью короля, Дон Карлосу с роднею, и всему мужскому полу стран страстных и полнощных стран. «Досадно право. Вечные проказы —

А все не виноват». И виноват во всем, пред всеми. Даже и в любви самой. Она-то без Гуана утешится всего быстрее.

И Дон Любви забудется быть может до конца в Любви при мертвом, только, что убитом в комнате Лауры, ее избраннике недавнем. Ура, ура! Не время мертвых хоронить, нет нужды бредить об ее изменах в отсутствии твоём... Лаура, Лара, Ларочка!.. (Проваливаются в негу сияющего слияньем страсти единения Жизни).

Я отвернулся, я ушел в раздумие глубоко. Граница роковая меж жизнью и любовью тут ли? Единых нет аптекарских весов. Какая доза яда лечит? В сласти какой жизнь искалечится зубами ис-тупленья? Решить сам должен каждый, ошибок, горечь опыта других и своего отдавав вдоволь, но в разной доле, в темпе и размахе разном.

Границ в лаурной бездне Гуан вновь не достиг, он не укрепился в тверди страстных волн. Что «круче» может быть безумства ласк над трупом несчастного в любви и в жизни претендента? Что Дон Гуану надо еще обнять, когда Любовь в объятиях его трепещет, бьется рыбкою золотой и молит ее не покидать? Она без дна Владыке своему служить, прислуживать готова беспрекословно. У Ра она – Кора, кора на Жизни Древе. Любовь податлива, покорна: облечь и ввысь стремиться, истаять прорастая...

А Гуан? Поперся в монастырь. Вдову убитого им Командора ему на похоть подавай. Лауру он украл у его родного брата. С трудом терпима эта вольность любви: Лаура ранее бешеного полюбила и Карлосу женою не была. Живые жены, впрочем, не скупилась на рога мужьям от Оленя Золотого: есть чем худую половину при мечать. Но верность вдов – вот то, что озадачило Гуана. Замедлил бег к Лауре он, внимая сказу о вдове, престранной очень. Каждый день за упокой души молиться убитого на поединке мужа она все ездит. Все сроки тра-

ура, скорби черной давно прошли согласно строгому канону приличий света высшего. Вдова же ездить продолжает и – плакать! Дурнушка? Нет, «не может и угодник/В ее красе чудесной не сознаться», отшельники-монахи долг не прельщаться красотой женской едва не рвут, по правде говоря.

Кому, как Дон Гуану не знать, что Командор безмерно был ревнив. Никто его жены не видывал. Теперь препятствий нет. Рвение выиграло – зреть это чудо, души и тела совершенство. Хотя б поговорить, коль трауром покрыта Дона Верности супругу. Не говорит с мужчинами? С монахом только? И лишь о самом необходимом, очень скупое. Мелькнула быстро, черной тенью в темноте, просила тихо: «Отец мой, отоприте». И ушла: молиться, плакать... Пред мертвым, мраморным как живым. Живым ревнивцем, спесивым деспотом домашним. Памятник ему воздвигла.

Страннее и странней цветы и листья, стебли, корни спутаны на лужайке жизни. И здесь же смерть.

Кто добре помнит о Гуане славном, в делах Любви непобедимом? Никто! Ведь жив еще, еще горит огонь желанья дары сладчайшие делить. Лаура помнит и забыть совсем – пока живу – не сможет. К ней вырвался из изгнания, к ней лечу. Даю тебе, сподвижник Лепорелло, слово с супругой верной командора я познакомлюсь. Будь уверен плут.

Уверен Лепорелло, никаких сомнений.

«Вот еще!

Куда как нужно! Мужа повалил

Да хочет поглядеть на вдовьи слезы.

Бессовестный».

Затея не нужна. Опасна, грозна сверх всякой меры. Более всего бессовестна, ни для кого не кончится добром.

Лепечет правду-лепоту народа глас, к нему прислушиваются Пряхи Парки. Но Дон Гуану не до сентенций и пророчеств боязливых смышленного, практично-

го, немного храброго и суеверного слуги. Да не был бы Гуан собой, коль там не рисковал бы, где народный разум, веков смысл здравый в замешательстве топчется. Риск — дело благородных. Чем отчаяннее, тем острее удовольствий жало. Королю Любви способностей своих еще не доставало на верности вдовы прекрасной испытать. Кому же Верность и Любовь пытаться в за-запрещенном столкновенье в лоб, как не убийце (пусть по чести) мужа?

По Лепорелло, доселе верная вдова обречена на слезы обманутой любви. Гуан, бессовестный, не только осквернитель жизни ее же даром высшим, но и жизни гробовой. В посмертное не верит Любящий существованье, не страшится Вечности суда. Подозревает, чует Лепорелло, что Господин его афей. Прав монах: Дон Гуан безбожник, бессовестный. Со-вести нет ему Благой. Любовь его развратна, беспредела, нещадно рушит мир живых и пра-отцов. Без академий знает точно Лепорелло, что проиграна игра. Барин не сдаётся и, проклятая доля, вновь, вновь ему придется в роше лошадей держать господских. И волю дать себе корить, что Донам приятней многожды, чем слугам, время жизни проводить.

Вешает правду глас народный. Прав оказался здравый, чтящий предков и заповеди Бога Лепорелло. По сути точно все случилось. С одной деталью. Ее неясно чувствовало сердце мудреца земного. Страша все более, без ума свергая здравость, она ускорила события роковые и мистикой окрасила дела. Без Рока тайны не бывает: его тяжелые шаги венчают смертью дар возвышенной любви. (И в предпочтенье секса слабых, импотентов духа повергают).

Граница, Лепорелло где нашел излом, изъян, давший Верности жены с мужской Любовью нахрапистой сочетаться, изложена в конце третьей сцены. Добившись свиданья с Доной Анной наедине вне монастыря,

без присутствия каменного мужа, Дон Гуан обрушивает свое Счастье, такое жданное и столь же неожиданное, на Лепорелло. Слуга – единственный близкий человек, с кем может и хочет щедро поделиться своей радостью господин. Счастливый как ребенок! Все и все – милы.

Ошеломленный новостью Лепорелло готов попервую допустить, что вдова сказала хозяину два ласковых, то бишь любезных, чинных, слова или позволила ему себя благословить. Когда же стал ему известен реальный (самый фантастичный по его понятиям о нравах) результат, народный представитель удручен. О, женщины, вам имя вероломство! вторит Лепорелло, не слыша Гамлета. Не зря таил от глаз чужих Аньоту Командор. Одни монахи, истовые в Боге, ей не опасны. «О вдовы, все вы так-овы». В хвалах тебе монах жестоко обознался.

Поющий счастьем Дон Гуан готов в безмерной радости своей обнять весь мир. А командор в него не входит разве? Иль необъятен в полноте любовной муж для жены? (и жена для мужа? – я равноправие блюду). Что скажет о такой любви завязке Командор? Живой ответил он сполна. Но есть и тайны гроба, небезразличные для счастья живых.

Кто лжет, что ум у умных пропадает от Любви? Гуан разумно отвечает: Командор не станет, верно, ревновать – «разумный человек. И, верно, присмирел с тех пор, как умер». Разумно жил и после смерти разум не утратил – покойно спит себе, ждет Страшного суда. В дреме на счетах добродетели считает, их Божьей милостью перемножает, итог – не деться Командору от рая никуда. Не до греха посмертного вдовы, при жизни он честь ее сберег и камень драгоценный – спасенье – приобрел ценою жизни, щит Чести оградил ее, от осквернения непогрешимо, чисто Имя.

Разумней не афеем быть, дразнить гусей из Рима. Зачем играть с загробным миром на все с авантюрным риском? Разумней быть в добродетели деистом, крыть

джокером смиренья на одре всех тузов страстей. Коль Бог — грез обмана блёск, то, как подметил Блез, не проиграешь. Коль нет — свое возьмешь раскаяньем и Милостью его бескрайней.

Но навсегда совсем покойным стать, уйти в ничто? Так и вопрос поставить Лепорелло не умел. На радость барина серчал он не на шутку. С благоговейным страхом и/или в пику барину слуга на Командора посмотрел. Не присмирел покойник неразумный. «Кажется, на вас она глядит/И сердится».

На глупость суеверного слуги, который в миг триумфа смеет прекословить, бесстрашный и победой, границ не ведающей, упоенный Гуан ответил как разумный гордый человек. Чтобы невежество слуги разбить рассудком. Дон Любви страх его искореняет шуткой. Иронья подыграет простоватой вере. Проси Статую «пожаловать ко мне —

Нет, не ко мне — а к Доне Анне, завтра».

Здесь рубикон гостеприимства перейден, смех незаметно переходит в гогот издевательства. Скалится нахальство.

В смятенье Лепорелло всколыхнуло дно: «Статую в гости звать! зачем?» Гуан и дно последнее приличий разбивает: не говорить же, глупый, с истуканом, пусть станет у двери дома своего на часах, пусть стражей станет не над своим бездушным прахом, а над изменой в родовом гнезде так женушки им береженой.

Где берега обетов? Где приличиям прилечь в покое тверди правой?

Хватил хозяин через край такого лишку, что Лепорелло понимает — шутка Злая. Злобства беспредел. И предупреждает вновь, что на охоту лучше не ходить, не стоит тихо спящих призраков будить неверностью их женушек прекрасных.

Отлынить от исполненья шутики гнусной, от издевательства прямого, наглого над прошлым, которое взрастило всех живущих ныне, бедняге Лепорелло не дано. Бич службы гонит, за страх он исполняет не с раза первого приказ.

Кошунство свершено, ожили камни — Статуя кивает головой в знак согласия (чай, не Болгария).

До смерти испуган Лепорелло: кричит, но словом описать не смеет обещанье Командора быть в доме у своей супруги Верной.

Дон Гуан не приемлет жестов языка немого, он Слова ветренного верноподданный. Не жалкий трус и не бездельник. Посредник прочь с дороги. Перчатку Статуе в лицо Гуан бросает:

«Я, командор, прошу тебя прийти
К твоей вдове, где завтра буду я,
И стать на стороже в дверях. Что? будешь?
Статуя кивает опять.
О боже!»

Не без суеверий и разумный человек Гуан, глаза его узрели движенье камня. Тень смятенья на бесстрашие легла, произвольно он всех клятв преступник и насмешник, ярый ерник, воззвал к Тебе, о всевеликий Боже. Лепорелло ликовал, едва за Дон Гуаном поспевая. Хозяин быстро удалялся от места Рокового.

Но место встречи всем назначено другое. Бесстрашен так ли Дон Жуан? На йоту ль не отступит он в Любви? Испугается ли гордый разум предрассудка, что межи не знает мертвых и живых? Узнает Командор, коль в каменном обличье сдержит обещанье, как в жизни он его неукоснительно держал.

Дрожа, как будто в первый раз читаю текст неслышанный, текст тайный, я быстро пробежал страницы до конца. Приникшим, чутким ухом слышал я, как с могилы Статуя сошла, когда Гуан открылся Анне и не был ей убит. Как тяжко, с поцелуем рук быстрее, неотвра-

тимо двигалась она, дверь распахнула в миг поцелуя Анны. Какая стража? Мщенье! Аз воздам Гуану в тот самый миг блаженства, который вскоре обещает полноту и совершенства неизъяснимые Самой Любви. Что содрогнулся? Закричал, забегал? «Я на зов явился». Боже, Дона Анна — не твои они, твоими быть не могут! Дрожишь ты, Дон Гуан. Что? Звал меня и видеть рад? Дай руку.

«Проваливаются».

Любви непреходимая граница найдена. Любить жену убитого — пресамый крайний случай. Из-за нее дуэль смертельная была, но не отношение Гуана к Анне (он ее не знал, не видел, не любил), а мужа бережливость, чрезмерный страх за сохраненье чести жены стал поводом (причинно весьма хлипким, для Лепорелло непонятным, но для благородных грандов достаточным, чтоб род весь истребить) для поединка. Влюбившись позже в Анну, оказался герой виновным без вины — впрочем, как всегда. Именно эта тонкость в развитии отношений в треугольнике открывала дорогу к счастливому соединению сердец. Анна, по ее признанию, вышла за богача под давлением семьи, долг верности мужу сверх всяких сроков искренне хранила. Пока не полюбила, в первый и последний раз. Трагично: влюблена была в того, кого убить должна по зову чести. Не смогла. Упала в обморок, болела б тяжело и заботой любящих к жизни тихо возвращалась. Так, через смерть почти, Любовь одолевает прямо с ней несовместные начала добродетелей иных. Любовь, что жизнь родит, длит свет ее и радость через потери и невзгоды. Вполне заслуживала Анна брачных уз любви счастливой: дословно, просто, без примесей Анна — благодать.

Если б не шутка, в упрямстве гордого бесстрашия Дон Гуана, сорвавшаяся в измывательства ад. Бравата, бахвалов красное словцо...

Такова отгадка. Я книгу закрывал. Не очень бережно, она перевернулась, открытой оказалась первая страница. Знак? Мистический? На случай всякий я послушно заглавие перечитал. «Каменный гость». — Глаза скользнули равнодушно, по привычке. Зато впились в эпиграф. Его-то как я столько раз зевал! От скольких трат меня б избавил Лепорелло, когда ему я с уважением внимал. Здесь наш мудрец простонародный поет из оперы... кого? Конечно, Моцарта. Он выполняет ту же роль, что и скрипач слепой (знак мудрой отрешенности от жизненных сует) в «Моцарте и Сальери». О чем поет — музыка и слово! — Лепорелло?

«О любезнейшая статуя великого командора!.. Ах, хозяин! Дон-Жуан».

Вся соль трагической развязки в эпиграфе дана. Я вспомнил в школе обращали внимание учеников на эпиграф к «Дочке капитанской»: «Береги честь смолоду». И здесь Александр Сергеевич воспользовался тем же приемом. Удачная уловка: не обращает в должной мере, особенно захваченный сюжетом, ослепленный кульминацией и потрясенный развязкой, читатель на заглавие, на эпиграф. Без них произведение хлебушек не вкусен, не хлебом ведь единым...

Итак, и я дознался до границ любви, вслед за другими многими. С народом солидарен: блюда любви вольность и законы брака, пусть мистика в чести стоит на страже чести. Все на месте. Главное, конечно, ясно. А мистика — она-то мистика и есть.

Тут кто-то громко засмеялся: «Ай, и ты, душа, попался!» Заливный, звонкий смех знакомым мне казался. «Сергеевич? Александр?» — «Я, я палю, очнись!»

Огляделся. Наконец-то дома. За окном деревня. «О Русь», — Гораций. Осень, Перо грызущий Пушкин писаньем увлечен. Жестом он пригласил меня садиться. Стал я наблюдать за часом час его твореньем упоенное смятенье. Автор, режиссер, актеры, зрители и кри-

тик хор — толпа разноязыкая, читатель, как домочадцы, колготели в нем. Аа в ком он же сам был, ответить затрудняюсь, мой приятель.

Исчерченный лист за листом кружил и падал. Метелью созидания заворужен, недвижен я в избе иль в заочность вознесен? — не ведаю. Слетая, вдруг меня холодным жаром лист один коснулся, глазами разобрал: «А с третьего щелка

Вышибло ум у старика.

А Балда приговаривал с укоризной:

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Вот так оценка? Дум созерцанья вдохновенного труда? Или Дон Гуана. Разве я не прав; на сцене я заодно со всеми. Ой, хорошо гостеприимство: сиди, как каменный, молчи, когда охота так многое спросить, да просто поболтать, поплакать, посмеяться от души...

Готова речь сорваться и тут как тут Сверчок просьб и возмущения общелкал Буратино. «Счас, счас... — огрызнулся в нетерпеньи возражений — «с»... (пауза) чета...» — в своем уже витает вновь. Приятельство, гостеприимство, дружба и, наверное, любовь забыты. Он увлечен, но я обижен, скучаю и хандрю. Такая встреча-праздник. Выходит пресный, праздный.

Но невод оброненных слов меня не отпускает. Что делать нам в деревне — на Руси? Заняться прежним перебором? Немь, хоть куда меня неси (Пушкин рядом в творчестве балдеет).

Чем бросил он в меня: счетами или четой? Час болдинский его я знаю — долго не ответит. Займусь и тем и этим. Сколько чет сочтем в трагедии испанской? А для чего? — считать ведь можно так и сяк, нарядами неисчислимо, бесконечно числовое племя. Не значит ли «счас» — «счастливо?» Бред, счастливую чету счесть в действе, где все герои, Лауры кроме с Лепорелло, или уже погибли, или только до ее финала доживут. Как же гений, парадоксов друг? Да, да! там нет и парадоксов:

не «счастливая чета», а «счас...», даже «с...» чета! Не фактическое есть, а возможность: возможность и счастья, и возможность четы, и возможность счастливой четы, — вот мне насчет чего считалку точно, быстро указала обмолвка гения. Невнятна и случайна же она и для меня, и для умов всех очень здравых и мистичных в их контекстах. Одушевлен задачей новой и кажется простой, посильной, важной, пустился по следам страстей таинственных, ис-пан-ских. О, Русь, осенней дрязглою порой отзывчивость всемирна.

Первая чета — Инеза с мужем. Счастья нет и быть не может. Она из брака вышла «за», да/на пороге смерти, земному в клятвопреступлении небесного не предпочла. Противно грешники обычно поступают на одре. Муж ее, суровый негодяй, жив потому, что поздно таковым узнал его Гуан. Бедная Инеза, страшная чета, судьба ужасная.

Лаура в бездонности любовной неги не может быть верна единому навек Супругу. Больше всех она Гуана любит, с ним могла бы... Нет, нет, иллюзия, что миг любви они бы длили в вечность брака. Она в любви к нему любви к себе не забывает: «прости меня, но я не виновата, что так любить и ждать тебя устала. ...Другой пришел и я не виновата...». Вернулся ты — начнем сначала, остальные прочь... Измены Лауру обжигали, но не выжигали в сердце ее бездонность страстной неги, придавали ее вкусу горечь и остроту, но не продвигали к верности Одному. Непонятна, неизвестна Лауре жертвенная Любовь «невстречи». Неистребимая, бездонная, она — магнит соперничества любовников, готовых на смерть за обладанье ею. Их у-час-ть — смерть и расставанье («маленькая смерть»), а не единослиянное сияние Брака.

Лаура — вечный возмутитель «бермудских» треугольников в Любви. Не чета. Уж не это ли отталкивает от нее Дон Гуана? В любви, не как в уме, подобное оттал-

кивается от подобного. На время. Затем ядро любви летит в Мадрид вопреки всем и всему. Значит вдали Гуан отличен от Лауры, не полон, не целен в сущности своей. Он без нее лишь на нее нацелен, стрелой лихой летит точнехонько лишь к ней. Попал, цель и стрела звенят ударом. Все стихло, наутро цель пораженная утрачена, скорей от нег, чтобы гвоздем в прихожей, чтоб вешалкой у Пригожей не стать! Летать от цели к цели, летать, летать! Все цели Всецельный должен поражать, чтобы застыв в горе одной из них не преломиться навсегда в горе поражений бытовых.

Гипотенуза треугольника Лаура отменяет квадраты (справедливость, по пифагорейству) катетов. Один несчастье Инезы брака. Второй, напротив, завидно счастливый брак Анны с Командором. Так король, так гранды, так народ считает. Жаль слишком рано – без детей – он оборвался. Оборван был «развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном». Монах так пригвоздил пострела и народ согласен с приговором и, если б не был далеко виновный тяжко, неискупимо, без сомнений руку б приложил к его освобождению земному от смертных сих грехов: «Всех бы их,/Развратников, в один мешок да в море». – Лепорелло, что, что ты врешь? – «Молчите: я нарочно...».

Что врет слуга? Из трех монахом заклеяменных грехов один он признает. Но и его вполне достаточно для мешка – морского гроба. Не врет он, от сердца говорит, «косит» меж обращением к монаху официально, вслух и тайно, «молча» Дон Гуану. Через несколько минут он сокрушаться будет о целомудрии вдовы, которым вся Испания гордилась справедливо – «квадратно»!

Анна, Анна – кто она?

По священной Книге – благодать. Мать Марии, бабушка Христа. Материнства благодать. Непорочного зачатья людей прародительница, тем отличная от Евы тема жизни новой. Радетельница рождений, возвраща-

ющихся из греха, способных и готовых при содействии Любви Духовной к Вечности Чела, лику райкому. Плоть ее — варево Творений, поварское украшение пре-стола Природы блюдом многих чад себе подобных, блеском радуги космичной, радостной и чуть комичной. Чистота и высота живо-т-варенья чела алмазов огранку получает в верности, в блюденьи брака, в беззаветной, жертвенной преданности Мужу Единому (одному и единственному).

Анна — материнства благодать, очаг домашний, ласка и уют семейный в крепком нерушимом Браке с Мужем (каким? Не торопяся поспешай). Рождение детей и верность мужу, верному покровителю, защитнику крова и крови, родни и Родине.

Как переводится на русский! Чудо-чудное писанья и звучанья. Анна! «На» благодать, ни в коем случае не сразу, как Ла-ура! Добивайся — «ан»: прочти в сопротивлении, в игре отказов и испытаньях глубины твоих стремлений и желаний бурных возможность «на». «На!» добился, очистительный восторг удвой (квадратна справедливость) и закрепи симметрией зеркальной: «ан-на!», чтобы в последний раз, как в первый, каждый раз робел, трудился, надеялся, любил и верил Благодати, себя ее слугой, не боле, видел в сердце окрыленном. Голубка Ан-на вьет чело-вечное гнездо на доме, в браке верном нет начала и конца, два бесконечности кольца — ∞.

Любовь благодатная возможна и на чудный миг, так Анна Керн явилась в волнах лет. Пересечение не завязнет в свиток развиванья. В односторонней тяге — Анна Вульф. И горькое услышит нет Поэт от Аннет (и без отмщения, увы, он Лани не оставит). Полнота и целость чистая, Совершенство — редкая случайность. Она зовется издавна так бесконечно просто: Анна... ананан... Всего лишь надо угадать, когда и где да с кем начать. Ан-на или На-ан, Аннет нон стопа? — вот вопрос.

Героиня Наша Анна, та самая и только Она и вне сомнений да — она. Единственная Дона. Женственная благодать Верности и Любви.

Достойную найти б ей пару. Жаль, женат король Испанский. Ему родила б Анна дюжину детей — богатырей сынов, красавиц дочек — птах сердечных. Бедна? Не все же рыцари скупы, не все ж цари казной бедны.

Дворянка рода знатного Она. Достоинством не уступает 12 великолепным грандам благословенной Родины своей. Де Сольва! Что говорит Вам имя родовое? Иных известий не имею, по-русски вопрошаю глас читателя простого.

Сольва. Соль. Ни саль-ности, ни ярости и ёрности Сальери. Фиглярности девичьей, капризов своевольных провинциалки, попавшей в свет столичный, в ореольность трона нет. Нет и кокетства Евы и лишена любопытства, хотя похожи очень, за исключением «е». Прибавь: была б Сольевочка какая! Впрочем, двойняшка Лауры, д-евочек возник бы явный перебор. Меж Анной Сольва и Евой прозрачная, непроходимая стена. Кому «соль совершенства» женской благодати пророчила судьба? Имя указывает точно, не в бровь, а глаз. Зри в зрачок: соль льва.

Среди Мужей, кто Лев? (Король рыдает, рвет и мечет, что вечно исключенье он). Конечно, Командор. Верность женской благодати не может не быть обручена с Верностью Рыцарского Служения. Брак Доны Анны с Командором — так предписали Небеса.

А счастье? Глупое, земное, его искать смиришь. «На свете счастья нет...» Не зря народная молва твердит не уставая: будь долгу порожденья верна, брак стерпится, муж слюбится. Разве мать Ларина несчастлива была в деревне с мужем? Отстал сентиментальный бред девического пыла, хозяйство, дом, природа, соседей дружная семья — для этого дарятся сыновья и дочери. Татьяна — ларь души российской. Неги гений хандрил и изны-

вал, но в ней жену свою признал и... в благородстве отчитал моралью чистою и пресной. Себя в чете так безнадежно обсчитал! Как он потом рыдал...

То, Русь! В Испанию вернемся. Торговец, я тебя поймал. В чем? Две Лауры много, а Донов чести – пруд пруди. И все убиты будут клинком Любви, развратником... Стой, стой, помедленнее кони, куда летим определись. Давай вначале разберемся, честь по чести, с близнецами из рода Дон Альвар.

Альвар. Альфа, первые во всем, всем образцы. И первое из первых. Творится ими – Честь рода и трона Чистота. Все это мы про Дон Карлоса узнали, Командор – брат родной его. Ровны близнецы. У нас один другого превосходит. Кто старший? – Возрос кто больше в чести. Командор. Напрасно лет, минут не тратя, шел он проторенным традицией путем, заслуженно быстрее и лучше всех – среди остальных дворян и в своем роде – добивался орденов, чинов, почета, славы и богатства. Пресамый самый Рыцарь знатный – Командор.

Жиль на свете рыцарь знатный

Он достиг всего во всем земном...

Кроме Любви в браке и детей. В науке страстной неги Он первенствовал, как и в остальном. Сим он от брата Карлоса отличен, по полноте гармонии своего существа, космически обнявшей не только Честь, но и Любовь. Не исключено, что младший избегал сетей Киприды не из-за робкой младости одной. Смерть брата на дуэли за жену его от половины «скверной» рода отвратила. Природа силу набирала, подмывала волю мести и... юноша попался в сети Лауры. Случай? Невольно напомнил бешенством Гуана страсть бесстыдну. И медлил робкий и ревнивый окунуться в пену волн, представшей Ах-роди-ты. И был в пред-порочности убит убийцей брата.

Всё – случаи, всё их сплетенье; неизбежности нагой нет и не будет, слава богу; ее б испугались и окаменели зрители Горгоны в космах змеи.

Гуан девственного Карлоса убил и спас от пятен крови мести. Юная душа в рай вознесется непременно, а Дон Любви еще на пядь оступился в огненную геенну. Об этом ли он уныло мыслил над трупом, ... неостывшим? Жизнь хрупка. Утл уют. Он защищался от натиска безумца, который ждать не мог, не захотел. Виновен смертно без вины большой, собой затолкнут в ад совести, бессовестный по молве народной и кодексу церковному. Где беспрекословность, где неотступность непротиворечий Неба в тебе, о Дона именем Мораль. Открыто ли не лучше упиваться «развратом» Любви, чем прятаться в двойственности публично девственной Морали: Орала, распинали Гуана голоса. Забыться, хоть на миг забыться! Лаура! С кем слаще в бездну страстной неги провалиться...

Скорее в сторону, мы не папараццо. В тени скромняга Командор. Достойный, краеугольный камень может Вечность ждать. Нам смертным не мешало б разгадать его животворящую душу. Вернемся, где оставили Его. В Любви – он первый. Он благодать Ее познал без опыта своих ошибок трудных. Он ее искал, ждал терпеливо, долго (тридцать лет с неровностью). Смирился, что не посетила Она свет в дни молодости... зрелости... На нет – нет и суда. Маячит старость, дряхлость, смерть. Триумфальный Командор смирился пред легкокрылою любовью. Уж-жаль пчела, не жалей чело твой мед так и не вкушившее, так и по усам его на пиру не пролившее.

Зрел Командор виденье Чистой Девы. Либо-либо. Иль Совершенство Благодати Женской, оправленное в Брак Священный и Непорочное в рождении Детей Украсит Сердце Палладина, иль Ничего ему не надо, не может Верный Идеалу любую Красоту другую воспринять. Последней просто нет, хотя протычь ему 100 глаз ее Восторженный Слепой не видит и не слышит.

Что мимолетом соизволила обронить Княгиня. Что перешепчивает высший свет? Что замесили СМИ? О чем шумит молва? Жених был признан самым знат-

ным, руки достойный дивам крови королевской. Занятно ждать свадьбу небывалую да честной пир на весь на вольный мир, занято объяснять затейно, гадать кофейно, из «истины источников» верно знать, что вот-вот случится... Время мчится: долг державной службы, раны, опасности отставки, странность судить не-вест и вкривь и вкось... Приелось ожиданье народа. Мир решил, что с женою Командор не так бы доблестен и был. Про извращенье, про здоровье слабость подпускали «смельчаки» слушки из-под воротен. И их презрительно в упор не видел Командор: глаз нету со спины узреть плевателей на платье, а пред лицом восторженное пенье лести (шипя внутри проклятья) приходится терпеть спокойным Олимпийцем и любезно улыбаться. Иронья холодна, но главное Виденье не дает по мелочам взорваться и сорваться со стези.

Плутает Жизни Лабиринт, несется, скачет, стременился Время... Не суждено, увы, Вы розно Родились. Так думал в дреме Командор, Она дремала вовсе не о Нем еще. Амур уж свой обычный, донельзя привычный, случай затевал. Изобретатель бог, как пошло — исконно истина пошла и так прошествует до гроба, как ново, истово, впервые взметнется в каждом — никто не помнит: чрез миг уж кажется всегда, везде так было и пребудет так. Танцует Случай, в танцах непревзойденнейший Маэстро. Благословенно, свято это Место.

Зачем приятель важну встречу назначил в доме, где милым девочкам, созданьям хрупким прививают класс движений величавых, легких, томных тайно, гармоничных явно? Ужель седая сваха не уймется тогда, когда устали трижды все остальные ждать? Уж скольких видел будущих красавиц мой взор, ценитель строгий, усталоравнодушный. Давно черты волшебниц не плывут лебедушкой, а расплываются в зыби зябкой. Зачем в последний раз я дружбе закадычной уступил? Ступить истоптанной стопою на Брег Обетованный не для главы седой, не для сердца, что закалилось в боях Чести.

А вестник Невестин уж стрелу Любви послал и Командор вступает в и-гого — в танц зал. С порога прынул Командор сраженный — вдребезги душа. Трухой опала ожиданий окаменевшая короста. Среди лебедушек Одна, высоконочьного роста, с обручем златым средь влас, выделявала «па», «па» еще, старательно, не поднимая глаз. Чуть может покосилась на Командора, засывшего в дверях, но никаких «ах!», «ох!» не отразилось в сердце слишком юном. Вслед за Учителем пока «па, па, па, па».

Остался Командор в чудном мгновении высшего даренья Дивы навсегда. Вздрогнул от радушного приветствия Друга, да все же и ему не выдал: То свершилось, преобразилось и забила Образом Святым Помолодевшая Душа. Друг, делами всеиспанского значенья увлечен, суть заподозрил свой долго чаемый успех, но ныне было всем не до Любви утех. Радехонек был Командор, спасла закалка гранда. Смог предложить прекрасный план, импровизация Триумфом увенчалась полным, их здорово отметил Король земель, в коих Солнце не заходит. По чину полному Командор сравнялся с Командором, которым признан был давно народом. Громы славы, звезды орденов! Но полн девчушкой Командор. Орлиным взором вмиг узнал... Безмолвно, издали, вне политеса жеста следил, как тихо Цветочек скромный бутоном Розы Мира поспевал. Переживал он слишком за Юлию с Романом, чтобы считать что погубила прелестный юности роман вражда одна Монтеки с Капулетти. Мечь цеплялась, жалила колюче, разлукой вломила, но не она сердца союзные разбила. Страсть сверх скоротечная испепелила с необорением разлуки детски хрупкие и нежные сердца. Уметь цветенье ждать, терпеливо завязь оберегать и помогать... Как хотелось Командору щедрость не дарами, а порученьями, сулившими успех немалый, проявить к де Сольва роду. Но знал, что тучи пересудов,

завистников все спутают в одно иррациональное с минусом Чести число. Сватовство чисто; ни облачка прозрачной тени на Верность и Любовь Идальго. Он ждал. Как нестерпимо в долге и в молитве искренней ему бывало не торопить, не гнать Зари Коня.

Неспешно Анна созревала. Красы одеждой скромности от глаз, завистливых и жадных, монашески храня.

Настанет миг, настанет вечно жданный... так буднично, как поторапливаемые дни. Срок первый сватовства настал, помолвки росной, предрассветной к свадьбе. О Командоре Анна знала по Славе, лично нет; Любовь все мало волновала ее восход, ее разбег Небесный. «Еще ты дремлешь, друг прелестный, Пора, красавица, проснись».

Уже во поле пыльно, уже на коне въезжает Командор на двор родительский. Инкогнито, не дразня молву. Его узнали Сольва сразу – пред ними Лев Златой. Что? Как? – Суматоха средь неготового к приему обедневшего дворянства столбового. Твердо, с достоинством встречают, держат высоко, с блеском родовую честь. Вдруг треск: Командор, Любви затворник, молчальник и отшельник покорно просит руки дочурочки в обмен на Сердце, на любую в этом Свете власть. Парка партию сплела, какую не видали с прародителя Хаоса. Остолбенели с ног до головы. Нельзя поверить даже – не то, чтобы помыслить с дуру... Еще дурней скорей принять – подавишься от счастья кома. Нельзя и отказать: все чин по чину, слово чести Командора блюлось по самым пыльным мелочам. Что делать? Не задеть бы как сторон достоинство обоих. Лепечут: Анна слишком ныне молода. – Я знаю слишком стар, она мне в дочери годится. Но если Дона Анна не будет мне Женой, как Командору с Жизнью не проститься, как еще давиться юдолью земной? – Зарезать Героя всех времен так просто без ножа!? Для де Со-Льва невозможно. И «Да!» родительские не могут вымолвить уста: Дон Альвар,

помилуйте, на год, на два, на три отложим брак. Дозреет до молодости первой цвет Анны, мы знак дадим быстрейшими гонцами и сплетем концы с концами обе жизни Ваши в роскошнейший венок-венец. О лучшем грех мечтать родительскому сердцу. — Еще ждатель — мне конец. Души струна последняя порвалась ныне пред воротами.

Ужасна пауза пред крушеньем. В смятении полном изобретатель, импровизатор... «Билет» счастливый безрассудства помогает Влюбленному! Истовый рычаг — столп истины желанной. Хотел в учтивые пуститься объяснения о разности времен и нрава родительской любви и любви жениховской, Страстной. И выскочило вдруг: после заключения брака Сам буду ей Отец и Мать, жену-дочурку пестовать до моего страшного срока; сама свободно и с Любовью Женой моею соизволит иль нет Анна стать. Ее хочу я Счастья — со мной иль без меня. коль на горе изберет Она другого, земная участь решена моя, уйду, куда и как я верно знаю. В любви и верности сгораю, мне Дона Анна — благодать единоецельная и неба и земли. О Боже, укрепи раба на крестной муке. Дай, молю, Любви! Минует Волею Твоей топор разлуки.

Не помнит, ни за что не повторит, но невозможное свершилось. Уговорил, уластил, напугал немножко стариков, заторил путь назад шедротами... С непонимающею что случилось Анною в дорожку припустился. Юрк в Замок семью молодую ото всех и там живет таков. Сдержал ли Слово Командор на поле самой тяжкой — нежной страстной брани? Вернее, темного томления грозowego надвиганья неотвратимого ее? Конечно, Вне «конечно» определению командорскому конец.

Заветы старины блюдя примерно, с холодноватым уваженьем, изысканным, блестящим, Дона Анна к свалившемуся рано, без ее желанья мужу отнеслась. И Долг свой не кляла, родительскую волю не клеймила; как

Командор до встречи с ней, Судьбе покорная была. Он — Верность и Любовь, Она — едина Верность, Уважение к Очагу, самой не избранному в долю. Со страхом, с отвращеньем Она ждала, как муки крестной, на ложе Мужа восхожденье. Неблагодатно было Лоно к рода продолженью. Как Он сгорал, ее желая, как Он наследника хотел! Но муж — не мальчишка жадный до липкой сласти недареной. Терпел смиренно, чтобы райский плод созрел, налево вовсе не глядел, все делал, чтобы он поспел, налил томленьем страстным к Единенью с ним.

В общем отношенье ясно, а в скважину замка мы не глядим. Если хочет, путь скажет Дона Анна. «Когда бы знали вы, как Дон Альвар/Меня любил!» Ее Верность и Любовь к покойному мужу заслуженно и восхищенно все возносили — Образец. Она себя корит за свидание с мужчиной, когда давно-давно закончен траур. «О, Дон Альвар уж верно/Не принял бы к себе влюбленной дамы,/Когда б он овдовел. — Он был бы верен/Супружеской любви». И за гробом до вечности суда.

Усилья Мужа увенчались победой полной. На поле Уваженья постепенно всходили семена Любви, невзрачные, слабые росточки упругу силу набирали. Пружинили и завивались туго. И зацвели, приветили супруга. К Мужу Сердце Доны Анны повернулось цветом алым, в Жене «дочь» тихо испарилась. Она сказать ему чинилась, что Ложе боле Лону не противно. Он ощутил — непередаваемое ощущение — в ней долгожданно перемены, но все боялся верить. Алкал проверить и так боялся повредить одним движением поспешным, все что было, есть и будет у него, у Нас. Но тишина, красноречивей всех ораторов, сыграла: вечер испиты будут чары чаши Жизни полной. Он и Она — до дна. Пей, Песнь Песней не иссякнет.

Как, как ликует Командор! Какие прочие триумфы? День нескончаем, Солнце закатилось. Нет, оставилось. Стрелой бешеною взвилось Время — успеть

бы приготовить все дары, хотя сокровища они лишь потому, что для Анны! а ей? — Командором будут вручены — с мольбой, коленопреклоненно. Род Альвара примет ныне участие страстное в сотвореньи Мира. Еще бы не принять, когда хозяйка Благодати!

Зачем, зачем ты не остался дома? Долг Королю мог сутки подождать. Иль в Счастьи и для Счастья не может Командор конфликтовать. Он Верен Чести, стало быть Себе. Но промедление в Любви смертельно, как и спешка. Дон Гуан, случайная усмешка «гуляки праздного» при Свете. Ужель «развратному» он не ответит за оскорбление Жены? Оно и было и не было его совсем — двоятся шутка Дон Гуана. Пятно, что смоем новая молва чрез пару-тройку дней? Или пятно на безукоризненной Чести превсего страшней для Командора, чем шрам любой, он — гноящаяся незаживающая рана? С Дон Гуаном Дон Альвар сошлись за Эскуриалом. Какой курилка будет жив? Какой приставит «экс»? Багровиться закатом Солнце началось, вот вот звездами распахнется бархатный вечер. Что думали бойцы? Повеса ни о чем: праща, клинок Любви, он больше ничего не весил в Мире. А Командор? Взволнован очень был: смешалось предвкушенье Любви, дарительницы Жизни, с необходимостью убить снаглевшего в браваде шалопаю. А Дона Анна? Как без защитника ей жить? Не легче ль Благодати чистой скорбеть вдовой, чем с убийцей детей плодить?

Сражённы были секунданты. Славный воин почти сразу наткнулся на чуть приподнятую против шпагу и замер. Горд и смел — и дух имел суровый. Имел...

Ущемление Любви вольнолюбивой, своенравной, отмстило своему стеснению Верностью.

Даже Верность Любящих небесно, наконец взаимно, в браке не обузда жестоко прихотливой Вольности Любви. Будь Проклята. Тебе прощенья нет! Невинных сколько погубила страсть при-пасть, лизнуть твой

пламенный язык. Будь проклят, не-верный никому и верный твой Служитель Дон Гуан. Вечно свободный, вечно холодный есть у тебя только «нет». И Вопили Камни: «За осквернение Благодати «Аз воздам!» С того вернуса Света и клинок преступный хрустнет в пожатье каменных перстов». Приговора Рок таков.

«Ну, милый, ну, очнись. До крика, до угроз смертельных расписался. Я с час уж наблюдаю за тобой. Как листы твои исчерканы кружатся и, путаясь с моими, на пол ложатся. Светлицу словно замело, как мы расчислимся казной, друг мой, с тобою?»

– Где я?

– Балдеем в Болдино среди Чумы. Умы с воображеньем пиры и замки строят из 36 букв алфавита. Их обменяем на банкноты. Пока оброк не собран пригуби лафита.

Вдруг голос издали раздался. То был Любовник, вечный сам-третей: «И ты, последний друг, и ты до Сердца Дон Гуана чрез камни не добрался. Спаси, спаси меня от мук! Еще одно, последнее усилие, оковы тяжкие спадут и...

– К нам, к нам, мы желанным Гостем встретим блуждающего Сына.

– Он же Блуд и плут, убийца!

– Несчастный, – Пушкин возражал. Скорчил рожицу задиристо смешную и вон и дома. Я одинок над счетом счастья вновь страдал.

«Несчастлив?» Кто? Я? Гость единственный! У Пушкина! В Болдинскую осень! Командор и Дона Анна, Дон Карлос и Лаура, Лепорелло – несчастливы и счастливы на свой неповторимый лад, в своеобразном каждому свершеньи неповторимой Цели (Призванья иль Судьбы), Дон Гуан? – в Любви неукротимый Триумфатор? Как можно бедным, жалким быть роскошному Царю Любви? Все же рефреном через приключения мои звучит мучительно Гуана глас «несчастлив» и в гордости

скрывается признание бессилия и муки зов — «спасите, помогите, дайте руку». Не счас ли должен я откликнуться? Иначе Пушкин не вернется? Попробую в очередной последний раз.

Влюбился ль в Дону Анну истинно шуан? Да — его постигла кара Командора. Но и счастьем был он награжден сполна: мирным поцелуем благодати и смертью быстрой, в схватке роковой, прервавшей навсегда афея муки. Иль обещавшей раскаяние, возрожденье спящей, избиваемой молвой и истолченной самоедством, заблудшей так далеко Души? Кай смертный, из льдинок складывающий безнадежно, но упорно, в неистовстве холодном, слово «вечность», рас-каян и у-зрел в ничтожном «я» Жизнь, Истину и Путь исконно нерушимой Вечности. Пылинка, прах взлетела, переливаясь как алмаз, подхваченная Благодатью Света и Тепла.

Возможно ль такое с Дон Гуаном? Случилось, правда, в миг конца. Случайно? Иль необходимость возможности такой неистребима, но спит в гробу хрустальном до поры (Любви). А мы свою Невесту и других пинаем мертвящей суетой, в ревизской сказке пропадаем чертами букв и цифр, чернильной, Черту отданной Душой. Он рад, копыта попитает и от зелия гогочет и чихает: ап! чи-чи-к-ох-хчи! Чуму, заразу насылает.

Прости Гуан, увлекся. Спешу на помощь гордому идалго из избушки. Где искать поруху? У старушки? Ба, Гуан — старуха у разбитого корыта. Оставим фокусы, собака тут зарыта в точном выяснении того, что есть Любовь в герое? Сие не совпадает полно, однозначно точно с тем, что он Герой Любовник самый знатный. Здесь он отказа знать не мог, тому свидетельницы три: И-не-за, Ла-ура и Сама Дона Ан-на. Молва, скорее, отверженными, оскорбленными устами жен и дев, хотела посмеяться над Гуана неудачей, но сорвалась в истерику, икоту, рвоту и в обмороке стихла. И Слава из фанфар одних пошла. Слыхала и была согласна с ней

Ан-на: красноречивый, хитрый искуситель, безбожный (следовательно, и бессовестный) развратитель. «Вы сущий демон. Сколько бедных женщин/Вы погубили?»

А скольких боле приглубил, одарил, хоть раз и ненадолго, как никто ни до, ни после Любовью? С ожиданием Ее, с Ее прекрасным Мигом Вечным, с памятью, хранящей Жизнь живой, жить только и возможно в закатном этом свете.

Но не о том – и нам, и Доне Анне – боль твердит Гуана:

«Молва, быть может, не совсем неправа,
На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет. Так, разврата
Я долго был покорный ученик».

Признает пороком разврат, но за его порог не в силах выбраться, пока не встретил Вас. Благодати вид один перерождение полное Гуана начал. В темноте, издаലെка, под одеянием монашеским – совсем как узник в платоновской пещере, взгляд отвративший от Теней на стенке тупиковой, к огню, к вещам реальным, к Солнечному дню в Космических просторах, – ученик разврата разбил хрустальный гроб, оковы дорогие отравленья спящей своей Души, как у всех людей, божественно бессмертной.

Но кто ж учитель скромного Гуана? В чем Разврат Любви, коль Суть она всех главных жизненных явлений?

Меня вдруг подхватило что-то и из избы вмиг унесло на брег пустынный моря. Граница с сушей. Появились незнакомцев двое. Меня не видят, как Людмила, я, видно, в шапке невидимке. Инкогнито-ревизор. Подслушник поневоле тайн чужих. (Или своих?).

– Нет, Рыбака. В дырявый невод ветхий он снова Рыбку ловит неустанно. Златую в добродетель сети Ему ты загони.

– Невозможно.

– Я желаю.

– Не будь Старухой неразумной. У Рыбки я море Арендую, вся моя Родня в стихию мутных волн погружена. Я против благодетелей не выступаю. Я, Черт, черты границы уважаю, их мешаю, смешиваю упрямо тупиковой прямизной.

– Ты не всемогущ, Бес, в исполнении желаний. Мне ты проиграл в чистую.

– Нет. Все и чрезмерно я прихотливые капризы исполняю в пределах Суши, так твержу земную жизнь Я в тверди нерушимой. В иссушении ее я устали не знаю с тех пор, как пораженьем горьким был подвигнут к Мщению и Еву яблоком прельстил.

– Я ж от науки, от забав, друзей скучаю смертно. Думал гений неги оживит хандру, но в дурах, прелестью роскошных, я все несчастлив. Причем когда их обольщают они-то счастливы, когда в ответ мораль читаю, являю благородство друга, им девственность спасенная горька. Превратная судьба. Сухая верность без любовной благодати колюча и в левом случае ломка. Я, Бес, чахоточно скучаю.

– Разумен будь. Зевай средь меры наслаждений жизни до зева гроба – такова людей исконная природа. Скука – отдохновение души. Доволен будь доказательством рассудка, что Фауст скучен, ею скручен от рождения: в прозе и в стихах, в буднях серых и самых смелых волшебствах всех колдунов и ведьм. Я бесом мелким извивался, горошком сладким рассыпался! Тебе добыл и славу мира и Любовь, всю дань возможную жизни. Ты оставался несчастлив.

– Любовь к единственной на свете Диве, сочетанье прямое в гармонии двух душ. «О сон чудесный!

О пламя чистое любви!

Там, там – где тень, где шум древесный,

Где сладко-звонкие струи -

Там, на груди ее прелестной

Я счастлив был...

Мефистофель
Творец небесный!
Ты бредишь, Фауст, наяву!
Услужливым воспоминаньем
Себя обманываешь ты.
Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты?
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее? Тогда
Плодами своего труда
я забавлялся одинокий,
Как вы вдвоем — все помню я«

В Любви, как и в Науке,
Фауст — кукла в буклях,
Все нити в Пауке,
А мошки кажется,
Что пляшут сами, что с усами,
Им невдомек,
Что это паутины смертной мед.

«Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленья
(А доказали мы с тобой,
Что размышление — скуки семя).
И знаешь ли, философ мой,
Чт) думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
Сказать ли?
Фауст
Говори. Ну, что?
Мефистофель
Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!

Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмушал!
Любви невольный, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслаждением,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решаешь на злое дело
(У, виденье-затмение Сальери!)(
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело;
Так на продажную красу,
Насытись ею торопливо,
Разврат косится боязливо...
Потом из всего
Одно ты вывел заключенье...
Фауст
Скройся, адское творенье!
Беги от взора моего!»

Не промахнулся, наотмашь бьет Мефистофель, не простофиля уж никак. А Фауст? Липкая стена, утыканная зла горошком. Тень Тьмы, Любви специалист, профессионал, Мастак! И все же в нем есть Совесть, ее борьба за Сердце, грызенье гнилых орехов зла еще здоровым отвращеньем.

Литературоведы говорят, что у Гете подобной сцены нет. Замечу кратко, на мой взгляд, Александр Сергеевич здесь выпалил весь «Фауста» заряд. Так гений русский на страницах четырех воспринял и впитал биченье Сердца гения немецкого народа. И по-русски предсказал исходы Фауста методы: не перелопачиванье всей Земле, а Зло направить против его новых проявлений, оградить его масштаб и глубину, и силу,

заставить косвенно Добру служить, иль не мешать, избежать покушений новиной чреватой. Корабль испанский, полный злата и шоколата, мерзавцев сотни три, готовых модную (венерину?) болезнь всем подарить, сейчас же утопить.

Зло против зла для самоограждения. Так мыслил Пушкин в 1825 году. Конечно, нет здесь и в помине благодатного спасенья: минус на минус плюс не дает, и отрицанье отрицания спиралию прогресса вверх – стремительнее все – не идет. Но все же Бес оказаться может ревнителем добрых дел (Булгакова удел). Не все, не все пропало, коль правда едко задевала Сердце куклы восковой, ржу зла пре-кислой истиной смывало с клинка Любви по истине живой.

Дон Гуан учеником разврата так и остался, хоть «Учителей» превзошел на две, на три главы в искусстве обольщенья. Его «изюминкой» была та искра совести, что в сердце чутком женщин пробуждала их Рок – сочувствие в страдании другого, жалость, милостью так плодovitую и лаской щедрую. Плюс мастерство с вершиною феерических импровизаций, но на подножьи нерушимой гаммы принципов, всеобщих, объективных, отстраненных чуть холодом ума. Любая крепость будет без ума, падет, как стены Иерихона от гласа трубного.

Обида горькая какая-то, младым Доном принятая как катастрофа, сердце раной защемила. (Мне говорили мир земной несправедлив, но чтобы так, так в отношении невинного Меня! кто пожалел? Никто. Холодно равнодушно большинство, «от делать нечего друзья» злорадствуют, что «чистюля» измазан сажей, теперь не отличим от черненьких мастей). Болит, дыхнуть боюсь. Молча огражу себя стеной, броней, покрепче она будет любых кумиров сего света. Теперь не страшен омут жизни. В его я брошусь пекло, пращею пробивной пропаду в Любви (Сальери отраду в монастыре Музыки обретал).

Так Дон Гуаном стал. Клинком Любви, ядром ее Смертельным. «Прощай» без «прости» он говорил разрушенному очагу, в прах низвергал, одарив роскошно, девиц мечты. Ты меч возмездия, Бич... Божий? Нет, обиды непрощенной. В Сердце не затаен Животворенья Камень, как песчинка в ракушке. «Я» — Беса ученик золотой и наивысшей пробы.

Чем это кончилось? Гуан, преступник, ядрил в Мадрит к Лауре незабвенной («Есть — убил бы, а нет — купил бы» миг за все иные со-кровища света). Коснулся о воспоминание Инезы, спотыкнулся о тень в монашеском одеянье Анны и, от греха Лауры и Дон Карлоса убийства отразившись, сам оказался в монастыре монахом. В обличье покаяния, в месте том, где Командору жена воздвигла Каменный кумир, размеров Исполинских.

Влюбился в Дону Анну случаем и ее Верность и ее Любовь, на долге долго взращенную, готовую вкусить блаженство Счастья семьи сокрушил, как все и всех, смертельно. Благодать без плодоношенья Любви погибла. Род человек непорочных оборвав. Трагична безысходно оборванная нить человеческой судьбы в Доне Анне.

Гуан заслуженно погиб. Давно, давно пора остановить (в мешок да в море утопить, как корабль испанский с болезнью Любви) развратника лихого. Хорошо, Он в измывательстве переборшил и камни возопили, длань Рока, словно вошь, наконец-то ту гниду раздавила. И после Смерти победил порок несравненный Командор. Так молва гласила и... разум в мистике топила.

Чего добился восстановленьем семейной чести и/или мезтью Дон Гуану славный Командор? Все убиты, он истуканом вновь застыл — о том его с сердечным пылом народ во всех церквях молил. Жизнь глубин, размаха кончилась в Любви. Праща Любви в осколки, в пыль разбилась о Камень Долга, бесплодна Благодать. Погибла дважды Дона Анна: Командору верность

в жизни и за гробом, к нему любовь — прививка к уважению, также бесплодно пала любви Любовь к Гуану. Нечего считать. Ни одна чета не состоялась в счастливом бытии. Скука — участь разумной твари на Земле. Бес прав.

«От-части» — кто-то подсказал. Знакомый будто голос Дон Гуана. Но в нем обертонами звучал еще один знакомый голос. Вознес я взоры к не-бесам. Туманно, сумрак предрассветный, самый-самый ранний. Вдруг тень, как виденье в Черной Тьме, прозрачней показалась в призраке кивания. Ты врешь, ты бредишь Лева-релла! Спрошу Его я прямо Сам, здесь страх не должен подавать Совета. Напрягся весь, вперил взгляд метнулся молнией в кромешной темноте непрогляд. Командор! Он мне кивал. И жестом звал ступать за ним след в след, как Призрак Гамлет — принца Гамлета Отец. Бежать? Нет, нет, нет, ни за что! Погибну иль раскрою Тайну наконец! Сквозь терни Ада, сумашествие, забвенье, хулу и осквернение, презрев открытья кражу (что в имени моем движенью Истин Жизни? Безымянно горит очаг и колесо катится... Не мне молится именем моим, пусть плагиатор в камне будет славен от юбилея к юбилею, под именем чужим исчезнет истый открыватель. Пусть...) Я Иду!

В реве Океана, в Ветре вое (как он не снес меня!) явился истины Утес. Поведал Командор: Он — не Гость не Каменный, а Хозяин Дома Жизни, Служенью Доблестному Верный во всем и всего первой в Любви. Ее самопожертвование решило нежности Рыцаря сердечной наткнуться на клинок Гуана. На Каменного Гостя, с которым рядом Благодать Любви и капелькой не протекает. Повеса — камень лишь лежащий в животворении... Камень преткновения.

Тут глас Его унес куда-то шалый рваный Ветр. Я соображал и почему-то возражал столь необычному в необычности самой определенью. Все, постой, по-

стой. По версии моей, слеза ребенка жгет и точит Гуана на сердце. Ученик разврата Он ненасытен в наслаждениях Любви. Желанным самым упиваясь, он им неудовлетворен уж так, что лучше б не испытывал и вовсе. И не испытывать — все более острее, слаще, рискованней — не может. Чесание чесотки. Неудовлетворением неудовлетворимым распят. Смиренья, благодати умиротворенья нет. Но и слезы огонь распаленный не может выжечь в нем, бессилен в сострадании Дьявол. Гуан его вечный «второгодник», ученик золотой не кругло-слезающий из ада скупой слезой (чего рассудок на дух односторонне холодный свой не понимает, необытием, фантазией считает).

Ба! Балда же я! Все путали Вас, запросто меняли местами, называя вовсе не того Каменным Гостем Благодати Любви. Почему же? Неспроста. Вы подобны как полюса ЕЕ. Вершина, плюс-Командор, хоть телесно Женщин он не знал. Звезда его так просияла, в вечер взошла бы Солнцем Новой Жизни... Но сорвалась — Подножьем, Землетрясением стряхнулась с орбит небесных. Гуан — Любви подножье (клинок надножья, жало подземелья), но не забывшее о вершинах Благодати в ней. Чем более врывался и желал зарыться Он в пещерах потаенных, тем более взывала, взывала в жажде вверх в нем беспокойно-беспокойная Душа. Слеза, со-Весть твердила, твердее тверди: хватил ты лихо, лишку чрез всякой меры слишком, из ада вылезай. Что слезные слова перед Лаурой ненасытной? Слова, слова, слова.

Пока не пала Командора Тень. В Зерцале доблестей, подвигов и славы Гуан себя зрил Командором, завидовал Великому Служенья Совершенству. Мечтал скорей занять Пик олимпийский, неустанно задирался и... Им сраженный Вершины Призрак Светлый во мраке пропасти бездонной отразил-ся, в высь Тень Мрачную позвал. Не тогда, когда Гуан за Эскурьялом надсмехался над соузницею в браке и убил — так неожиданно

быстро и легко «войку славного». Но тогда, когда увидел плач искренний вдовы по мужу – сверх обычаем положенного срока, времен печали без конца. И мальчишечья слеза в темнице каменной пращи смертельной прорастаньем ожила.

Дон Гуан – Тень, но двойная. Черный человек, Мрака крошечного частица и осветленность, возможность стать *Небесным*. Одномерный он либо бес (того или иного чина), либо Командор, в пределе – король Гамлет-отец. Гуан – смешение. Цвет молодости, завязь зрелости тьмой морозной крепко схвачена была, оставив блеклую росинку неизбывной мечты. Но Идеал не отражался в ней, не концентрировался встречей с Учителем Благого. А Командор? Они подобны слишком были, как близнецы: Гуан не мог быть младшим братом, как Дон Карлос, Дон Альвару, т.к. первым, только и исключительно первым был в сознании своего предназначенья. Но в Испан-ии реально свято место занято. Не выдержит двоих вершины пик, двум исполинам несовместно в доблести сиять – логично думал юноша Гуан. Его амбиций, еще почти не подкрепленных делом, никто не признавал, в ответ он задибался на любого к месту и не к месту без наималейших пустяков. Стычка с Командором подвесила повесу на древе преступленья, трещиной разверзлось об извергнутом в опалу света и народа мненье...

Зеркальным отраженьем, призрачным земным свеченьем неба, облаченным в броню камней Тьмы подземелья – является Гуан. Поединок с Командором и Благородства смерть на нем необходимы. Но лишь наращивают вес мрака в Тени. Супротив, Горечь в Любви готовит почву, не дает стать бесом полным. Виденье Доны Анны лёт пращи затормозило и оборотило, начался навыворот поворот в соотношении тьмы и света в Дон Гуане. Потекла слеза и камень точит. В трауре Она с ним, Темным в темноте стоящим, заговорила.

Уж не напомнил ли безмолвный наблюдатель ее молитв над гробом Мужа Ей того вниманья, которым окружил Командор Жену – Дочь Младую? Так и Лаура по бешенству в Дон Карлосе узнала достойную замену Дон Гуану.

Прокрутим пленку трагедии еще раз, как можно медленней, детальней. Гуан, Праща Любви, преступник Долга Королю, ядрил в М-ад-рит к Лауре незабвенной. Знал: «есть убил бы, нет купил бы миг за все иные со-кровища света» и влачился яро в яреме воли Любви бездонной. И в ссылке, и в ночи темной франт, Кащей с иголки галантный. Нахальный кавалер со шпагою под мышкой, шляпа в перьях и в плаще. Таких модявых ныне уйма неумная везде! – Шутишь, Лепорелло. Противореча сам себе, хотел быть неузнанным. – Первый, слабенький шорох желанья душевной перемены. Невнятный в буйной и оправданной листве переодеванья ради наслажденья целью прежней. Гуан бесстрашен, опасность только разжигает риск утвержденья «я» (прочь гонит от себя давно изведенную невозможность умириться с Лаурой), согревает тайная милость Короля. Что, в конце концов, притягивает, как магнит, камень преткновенья, блуждающий зуд непрощеной пращи? Пустота и скука, хладность Северной Любви, постылость, застой и пресность вне Мадрита.

Воспоминание о помертвелой на губах Любви с печальным взором... О. И-не-за! – совесть застонала, заворочалась во сне, кошмары запределия, всей жизни наказанье Смертью за ночь Любви. Треснуло полено... прочь, Старая, я жить хочу. Скорей к Лауре, прямо в дверь, присутствующие вылетят в окно, коль со страху не умерли.

Лепорелло

Конечно. Ну, развеселились мы.

Недолго нас покойницы тревожат.

Кто к нам идет?

Как Стража в начале «Гамлета». Монах. Страж, молящийся за живых и мертвых. «Кто здесь? не люди ль Доны Анны?»

Правдиво отвечает Лепорелло «господин»:

«Нет, сами по себе мы господа.

Мы здесь гуляем».

Прямо «Операция «Ы»: как пройти в библиотеку? – это в три ночи! вопрос для сторожа-старушки!

Дон Гуан полюбопытствовал: кто в место уединенное в столь поздний час наведывается и зачем? (Что-то, но не ленив, просто нос ходячий).

Благодать на гробницу Командора, жена на встречу мужу, хоть Смерть их разделили. Де Со-Льва! Вскрикнула Душа искрой жизни и чуть не проговорилась, в ком она. Ужасна каменна темница дел свершенных, страшно взглянуть на гладь Совести – узришь Горгону и окаменеешь, Страшный суд мгновенно явит приговор. Без Слов все ясно: обречен неприрученный и необрученный. Каменный Гуан бессознательно бежит от Души трясения в вопросы, ответы на которые, как он уверен, знает лучше всех. Монах, глас Неба на земле, и Лепорелло, Земля, глядящая горизонтально на свод Небесный, подтверждают Истину, уже поросшую быльем несомненности, оценку и приговор. Лепорелло стать Мефистофелем готов любимому Хозяину и братии ему подобной: всех развратников в мешок один и в море. Концы в воде. Шутка, бамбарбия. Так, нарочно... Откажишься? Тебя они зарежут, кегуду.

Где ночь Любви была с Инезой, похоронили Командора, предвкушавшего Вечор. Тень Мрака заслонила и поглотила Призрак легкий Неба в Дон Гуане, задира жару на-под-дал в амбициях все-превосходства и благородно, честь по чести вымостил дорогу в Ад. Не спрашивал повеса, забияка, кто замертво за Эскуриалом пал.

Странная вдова воздвигла памятник Мужу. Не столько рукотворный, сколь месту придающий Его любимый облик, чтоб легче было каждый день с ним общаться. Просить прощения и плакать за неотзывчивость свою. Дом земной преисполнить священным долгом, незабвенности нарядом.

За упокой души Его молиться – быть покойной в душе своей. Не требовать от мира, не просить у Бога ничего, кроме благодати Верности. Странная вдова...

Душа уж потянулась к тайной цели. Меня кто б пожалел: как я Инезу... Но сладка дрема, липок грех. «И не дурна?»

Красой чудесна. Отшельники, угодники, святые ею прельщены, как не должны они прельщаться красотой.

Недаром был ревнив покойник, ошибся я, над ним смеясь и задираясь: не страшился б ее вида Ис-Пан-ский двор, украшение балов, Психею трона Зала тронного, а не глухой позор Природы прятал Командор взаперти.

«Никто из нас не видывал ее». И не увидит. Несовместна Благодать со зреньем шуанов.

«Я с нею бы хотел поговорить». Красноречивый Дон Гуан прекрасно знает, что Любят женщины на слух. В словах мужчины более свободны и искусны, в их своре бешеной послушной искусу нет предела. Уж внешне ль нехорош Гуан? Что прячет темнота и плащ? Что слово ослепляет? Недостатки стати? Сердца хромоту? Искушение души? Мерзь искушенности?

Не говорит с мужчинами вдова. Ораторы, краснобаи обречены. Примерно в то же время (в Вечности!) обет молчания в монастыре приняла Кончитта, узнав о смерти капитан-командора Резанова в России глуши далекой. Судьба и имена! Кончитта до конца своей Резе новой пребыла.

С потерей звуков языка земного неукротимый Дон Гуан смириться разве может: «А с вами, мой отец?» Готов бесполом облачиться лишь бы в тяжкие пуститься.

Иль? Душа, пусть поневоле, свой интерес греховный истоиво блюдя, заходит в сети... нет из них выходит: «мой отец, другое дело».

И входит, туг-как-туг она. Воздушно, неслышно, никаких стук, стук. «Отец мой, отоприте». К кому обращена речь Анны? Кто монах?

Кто ждет, кто ожиданием живет. За отцом-монахом идет Дона Анна до конца.

Посторонние: какова? Не-монахи Монархии Ее в восхищении от молвы одной, доверчивы к мнению Знати. Самый Знатный, в Любви закоренелый (и «пробуждающийся к запертому долго и далеко Долгу»). «Ее всем не видно

Под этим вдовьим покрывалом.

Чуть узенькую пятку я заметил».

Узник в пещере от Тени Мрачной на Стене глухой и тупиковой чуть голову поворотил к виденью Вещи в трепете еще неясного Огня. У Тени ахиллесова пята: я с нею познакомлюсь. Сквозь щелочку пробью брешь в броне непреступной. Сердце готово грянуть первым звонном набата. Чье? Сомнений нет у Лепорелло: «Вот еще!

Куда как нужно! Мужа повалил

Да хочет поглядеть на вдовьи слезы.

Бессовестный!..

(вслед уходящему в М-ад-рит Гуану)

Испанский гранд как вор

Ждет ночи и луны боится – боже!

Проклятое житье. Да долго ль будет

Мне с ним возиться? Право, сил уже нет».

Нет, нет еще для Барина мешка. У Гуана смерклось в сердце, луна не обратила тьмы в свет сонаты «Лунной». Взшел в Мадрит к Лауре и Карлос Дон убит. По воле и неволе.

Убийство (нечаянное) к лучшему! Вновь тот же монастырь. – Случайно? Отшельника смирение и монаха одеяние. – Сила обстоятельств? Нет, не только.

Новая забава — предвкушение вкуса плода Верности загорбной. И, кажется, замечен прелестной вдовушкой монах. Она б его убила, если бы узнала гранда-вора. Сражает «сразу» наповал. Но не знала всей глубины коварства Анна, ей он молиться не мешал. Его присутствие в общении четы прижилось, третий овивался едва-едва, тончайшей, незримой тенью Счастья дыма, а ей напоминал Того... Секундантом Командор, нет Судиею наблюдал, как жена и враг чинились... как медленно сходились... К барьеру мести долгожданной? Гуан грудь благородную подставит под удар супруги... Возможно ль справедливо мстящая убийством Благодать? Иль Верности нарушен будет Рубикон? Тогда десницей из-за гроба должок вернет Гуану Командор. Терпенье надобно, терпенье. Искусство мщения — миг такой поймать, чтоб не было прощенья у божьей Милости самой. Поправший, злостно насмехаясь, Благодать мешка достоин в пучине мутной, в буре черной Окияна-море. Не в земле охальнику лежать. Ждать, Командор, ждать, ждать.

Но это что диво? Свет не слыхивал такого! Гуан решился «быть» сегодня, но межуется и мнется, впервой не знает, как начать. Правильно решает: на проклятые вопросы заранее ответов однозначных «нет». Готовность — это все — Гамлета повторяет Дон Гуан: «что в голову придет,/То и скажу, без предуготовленья.

Импровизатором любовной песни...»

Распяты ожиданья, крестный ход сей-час. Пора ей быть Что задержало? Не приключился ли Случай случайно несчастливый с Ней. Часы в обратный путь извилистый пустились, сознание мечется в змеином лабиринте, лучше Минотавра... Вдруг в замате неявно себя отождествляет с Командором мертвым Дон Гуан. Холодная горячка? Или оживает в отраве спящая Душа от зайчика — трусливого луча? «Без нее — /Я думаю (след., существу) — сучает командор».

Почувствовав позор отождествления Гуан браниться начинает. Над кем? Над Дон Альваром? Нет. Над Анной его представившего Исполином. Гуан Любви Завистник. Соперник мертв, сражен его рукой, но над Ним незыблемо и величаво ожидает жертвоприношений Верности, искр Любви, каких Гуан вовеки не узнает. Ярится, ерничает, суетится в уничижительных сравнениях испанский гранд и в сем изничтожении образцов себя, свое ничтожество не может не избрать в космический масштаб.

Конечно, Анны нет и нет.

И не было бы случайностей, преград не мало! Но вулкан стихает ревности. Дон Гуан благородно вспоминает, что горд и смел его соперник и дух имел суровый... «А! вот она».

Он заждался, в замешательстве явном...

Его — привычное (прошло всего-то пара-тройка дней! Да, да, по Страстной неделе, сегодня без сомнения Середа) присутствие отметив, Анна начинает разговор с извиненья: отец мой, развлекла я своим вторженьем резким в помышлениях святых. Простите!

Как на булавке стрекоза, всполохнулся, замер в вывихнутых позвонках Любовник записной. Пропустил удар такой, что нет возврата после потрясения. Вперед! Но с аптекарскою мерой возмещения! Шпага блещет, из раны хлещет кровь дурная, но неподобен и в сравнении с собой сегодня Дон Гуан.

Ее печали он мешать не должен вольно изливаться. — Длит со-страдание чистой глубиной диалог. — Печаль моя скорбит со мне. Но глас отшельника поможет молениям смиренно к небу возноситься. «Я прошу/И вас свой голос с ними соединить».

Какой удар и Дар какой! Ты жив Гуан? Жив, раз сознаешь, что недостойн участи такой: хотя бы в «ан», без плоти губ губительных и дерзких, быть преклоненным с Ан-ной в молитвах за него (и за Души его покой,

который дверь приоткрывает для Любви Земной. Подвиглась Исключения граница, на случайнейший случай чуть ступила).

Но Гуан не мыслит. Мнит виденьем: посещение мраморной гробницы бледной Ангела в нимбе черных влас распущенных...

Ну, АС! Божественный Virtuoz: Не Елисей, а Анна, Женственности непорочной благодать из мертвых воскрешает (не тех, кто под плитой лежат – им в дар покой, но тех, кто страдает; за мертвою до толе скорлупой, кто мизерно еще не гниль до пыли-праха). Так дочка капитана Мир Новый принесет тому, кто смолоду честь берег и заячим тулупом не скупились за помощь среди пурги.

И в это ж время – Пушкин, можно – такая исповедь, такая молитва о прощеньи своем. Так всех увлек, так распалил... сам теми же словами, тайно, но прямо, внятно, постоянно, принародно за Марию, за демонское оскорбленье подозрением Богородицы просил. Не раз, не два раскаивался слезно и был прошен, был несказанно – даже для Пушкина – награжден.

Куда мы забежали? Кто в горячке?

«В смущенном сердце я не обретаю
Тогда молений». – под рясой исповедуется
Верности Гуан. – «Я дивлюсь безмолвно
И думаю – счастлив, чей хладный мрамор
Согрет ее дыханием небесным
И окроплен любви ее слезами...»

Вновь отождествляет себя с им убитым Командором. И больше, тверже позитив, не «я» остов сравнения. Искрит страданье, жалость рыбкой бьется уж непростой. Миг, шаг, сейчас забьется ею зряшний невод...

Напугана вдова странностью отца речений: «Мне... вы забыли. Мне показалось... я не поняла...»

Кто рыбак? кто рыбка? Невод водит в море иль на небесах?

Гуан боится и в испуге смертном бросается вперед — на случай, на удачу, что главу снесет и мир перевернет. Все скрыть можно: «вы всё, вы всё узнали» — признаньем, что Истина сполна в ее руках. Отступить там, где не может более неизвестность продолжаться — я не монах и, моля прощение у ног Ее — какая Высь! — в признании бесконечно — забежать. Страсть безнадежна — бездна, какая бездна. Тебе Гуан Лаурой надо было стать, чтоб Дна Любви достигнуть!

Запрет строжайший, престрогий самый толкает сам, чтоб единый раз его исполнить нарушеньем полным. Правил супротивность — искомый ключ неразрешимостей привычных. Исключение как вторжение за пределы в обычья ход. Так в сказках: сделаешь — погибнешь. Да жребий выпал на все играть — Другого Ради, хоть слишком можно руки умыть... Смотри же не обдернись волей; захочу вскочу — захочу соскочу нема и некогда считать (того, что не пересчитать).

Несчастнейший, из всех счастливых: ты блаженней всех, раз довелось тебе пред Благодатью изливаться жертвой. А за ее ответ: забудь любое «без» навек.

«О боже! встаньте, встаньте... кто же вы?» Сочувствует не гонит прочь. Все знает, угадала чутким сердцем, но требует произнести признанье, встать с колен. Так и знала! «О Боже мой!» Спихватилась тут же «О Боже мой!» (еще не улеглось, лишь расправляет крылья!) и здесь, при этом гробе!

«Подите прочь». Поздно. Сего хочу и не хочу продлить: «Если кто взойдет!» Решетка света заперта. «Ну? что?»

«Что? Кто? То? — вот вопрос, который ране что делать? кто виноват? и какова цена?

«Ну? что? чего вы требуете?» Не фальшивит жертва, алчет приношения, рассеяния в прах свой бедный, чтоб отдаленно разделить судьбу посмертную Дон Альвара. Гуан «вторым» готов быть, ждать вдалеке — у дверей — у самого порога — случая редкого, когда из-за

оплошности нога или одежда его коснутся камня. Забытым Камнем холодным лучше быть в монастыре уединенном, чем неукротимым и непобедимым Любовником наипервейшим.

«Вы не в своем уме».

Желать кончины жизни конченной, безнадежной в Единственно Великом (Ликом ведущим к жизни, полной целосозиданья) – не безумства знак.

Случай увлек меня, случай (к которому подспудно я шел супротив и поперек, чрез все блужданья). Любовь без Благодати не Любовь и Верность ей кладет предел, в котором Дышит Вечность. Я Вас Люблю.

«Давно или недавно, сам не знаю,
Но с той поры лишь только знаю цену
Мгновенной жизни, только с той поры
И понял я, что значит слово *счастье*».

Подите прочь – вы человек опасный. Не Вечная, вне Верности Любовь – уж не Любовь. Так ли? Кто, где ж на всех, на нас простых, не очень ярких ниспошлет Ее неисчислиму Манну? Не сбудется – не сбудется, а стерпится да слюбится.

«Подите прочь – вы человек опасный.

...Я слушать вас боюсь».

Взрастила я Любовь на почве Долга и Верна избраннику при жизни и смерти его, увы, скорой слишком.

Тайна гроба и счастья тайна супротив. Я слушать вас боюсь.

Когда на жизнь я осужден, прочь не гоните, разрешите молча, издали Вас видеть.

«Подите»... прочь? в заочны дали? – И приговоренный быть «слепцом» влюбленный тут же кончит счеты с жизнью лишь скроюсь я из вида, – здесь не место

Таким речам, таким безумствам». Будем жить, Любовь и Вера пропасть безнадежности сомкнут, молчать и видеть Благодать – не счастье ли это? Чего еще Влюбленному желать? «Завтра

Ко мне придите». — Безумство! Я не ослышался? Миг назад... Но что еще? Условие — уважение к ней хранить. Подтверждение: «Я вас приму; но вечером, позднее», — для всех тайно и указание на исключительность того, кто может к ней уважение мирское проявить. — «Я никого не вижу с той поры, Как овдовела...».

Дон Гуан впервые ликовал в благодарение чистом.
«Ангел Дона Анна!

Утешь вас бог, как сами вы сегодня

Утешили несчастного страдальца».

Как далеко зашла! Вообразить он может рой обещающий беспочвенных, пятнящих Честь и Достоинство Вдовы. «Подите ж прочь».

Довольно, сверхдовольно того, чего добились Вы, что я нежданно отдала почти без боя...

Уходи Гуан, нрав женщин переменчив. Но он зашелся, не остановиться: «Еще одну минуту». Слишком, это слишком: Уйду сама. Нейдет на ум моленье, развлеченного речами светскими. — «Завтра/Я вас приму». Четверг, вечеря тайная Любви безрассудной с Верной Благодатью.

«Еще не смею верить.

Не смею счастьем моему предаться...

Я завтра вас увижу! — и не здесь

И не украдкою!» (По Взаимному, вернее Ее согласию и воле, поэтому от остальных, кроме двоих, украдкою. Таинственности ореол Любви Светило украшает.

«Да, завтра, завтра». Но кого принять я согласилась, кого впусу — только в несокрушимом уваженьи к положению вдовы — в дом свой, в дом мужа, где все памятью о нем пропитано живой?

Как сметлив Гуан! Он, только Он Любви цельной воплощение! Не признаться и все сказать, найти единственное имя в миг. «Диего де Кальвадо».

Не сказав Гуан, герой солгал. Но в чем? В бесплотном озвучивании сути. Суть представлена сполна, даже Диего де Кальвадо точнее, чем Дон Гуан. По крайней мере ныне и завтра.

Диего? «Ди» — двойственность. Кого? Его. Гуан осознает себя отныне не точкой все превосходящей, над остальными несоизмеримо первым во всем и преболе в главном из главнейшего. Он отныне — двойник. Тень, сгущенье самых разных, наложенных друг на друга отражений. В душе его они живут в борьбе и мире, в смертоубийстве и прощеньи, в тьме и свете. Он семицветной радугой готов обнять после грозы вот эту Землю, соединиться с Небом коромыслом всех чувств.

«Ди» прошлое его — густое, смачное и жаром пышащее воплощенье Мрака. Ди-авола примерный ученик, Гуан Его двойник. Но не бесспорный. В нем Доблесть, Мужества твердыня ретиво билась в сердце измальства. В задире отблеск Командора был всегда, но юноша в Любви смертельной только смог опередить Заслуженного Мужа. Их столкновенье было неизбежно, а легкая победа Тени над Призраком была воспринята с презрением блестящим, легковесным и ядовитым — Дьявол ликовал.

Тогда любовь к Жене, видать дурнушке и провинциалке, ее храненье было поводом. Теперь Тень в Мраке свалить хотела и Любовь, возвращенную на уважении. Задача — так себе, пустяк для Ловеласа. Что стоит соблазнить Вдову младую? Ужель не перевесит верность гробу огонь крови, живой любви чары. Тут за Тень сама Природа. «Я б никогда не полюбила/Но как на свете без любви прожить?» А против? Отблеск не состоявшейся в Любви Любви. Дал Дьявол слабину, дал волюшку тому, что страсти буйно-нежной предавался рядом с трупом брата Командора, убитого чуть раньше.

Сильнейший в самой силе слаб, теряет осторожность и во всем беспечен. Изъян ученика — горечь неумиротворенности в удовлетворяемости всех Любви

желаний, подчеркнутая самой Лаурой в обстоятельствах таких острейших — целится начал от слуха, от мимо-летнего виденья в сумраке Жены так Мужу верной. До донышка он осознал: его никто, никто при жизни не жалел, не ждал. Те, кого одаривал так щедро, забывали — расставанье для их Любви — смерть. Из Сердца вон. У Доны Анны смерть огонь Любви не погасила, а сделала его чистым вечным. Диего, под присмотром Командора, стал Призраком его Жены. Чета двух Призраков против Тени Мрака. Кто кого? Диего тянется к К-альва-до. «До» не «р», а «к», путь, превращение в Альва-ра. «До» не «Дон» богатства Сердца Командора. Сумеет ли пройти Диего де Кальвадо сей путь тернистый. Завтра, завтра...

Но и ныне переполнен Счастьем он. С кем поделится к Жизни светлой пробуждением? «Лепорелло». Слуга, нет милый друг, всех затей наперстник давний: «Я счастлив». Народный ум сбит с толку, затем: «О вдовы, все вы таковы». В объятиях от радости поющего Гуана (не Диего де Кальвадо) есть ли место Командору. Статуе каменной смиренно разве можно относиться к проделкам Повесы и Жены? Лепорелло видит, как ревнует, как сердится Забытый Муж.

И тут Гуан (спонтанно вроде) проявляет учтивость: Хозяина он в гости приглашает, не просто так, но стать на часах, пока вор похищает сокровище его всей жизни и причину смерти. На самом деле, он просит Командора поменяться местами с тем Гуаном, которым был он чуть ранее в мольбах: стать прахом, лечь в могилу у дверей, у самого порога, чтоб изредка, случайно нога иль край одежды Доны Анны, идущей к Командору на свиданье, могла слегка коснуться окаменевшего. Невероятная возможность утешением сладка в возможности невероятности необходимой, неизбежной, роковой. Теперь все, все переменялось: жизнь ожила и набирает ход в направлении, какого никто не ждал за миг до

свершенья дел, так быстро, так триумфально. Скептик, неверующий прагматист, истории статист пассивный, не друг, но лишь слуга. Соперника же уважаю: ступай и пригласи. Чудом упиваясь, над мистикой осторожной, боязливою смеюсь и над поверженным соперником учтиво, благородно издеваюсь.

Для Лепорелло согласие Командора – крах, подтверждающий верность худших опасений. А для Гуана? или Диго? Кого же он Двойник? Явно для Дьявола, отличная забава Ученика кромешной тьмы. Но отрезвление мгновенно: «О боже! Уйдем». Задали с поля боя стрекача. На встречу судьбоносную не придете завтра? Позор, тень невозвратно одолеет де К-альва-до, Диго будет расщеплен без Дон-но (никакого «на»). Придешь? И Он на сторож явится, пройдет порог оживший оскорбленьем несусветным Камень... В тебя летит смертельная праща... Что делать будешь камень чуть оживший?

В объятиях друг друга проваливаются...

Потрясенный новым чтеньем, я выбросился в острие конца. Бессилием разъятый, знал не поднимусь. Зачем? Неотвратима месть, итог печально-сгорблен в скорби смертной. Погибла Дона Анна дважды: в любви Верности и в Любви Любви. Командор при жизни дал себя убить, чтоб ложе Доны Анны не осквернить убийством, обрывом жизни, причиненным невольню. И кому? – зарвавшемуся негодяю, развратнику бессовестному, пользующемуся Честью не для Блага Общего (Общество – общая честь благая), а для Прославления «Я» в неповторимости его бескрайней (ведь каждый в любом своем составе и движеньи не имеет двойника, беспредельно разн и уникален. Иль чиху каждому Его Общество дружно должно восхищаться. Неповторимое индивидуальности двойник, всецело ложный). О чем я? Сбился говоря о самом важном, так и тянет лаконичность слов верных в витиеватый излишествами лабиринт. Итак, итак, живой дал Командор себя убить

Гуану, а когда тот стал Диего де Кальвадо, восстал из гроба, пришел и отомстил – сполна, в миг первого блаженства Любви Доны Анны. Месть исполнена, Дьявол торжествует. Еще бы, Командор пригвоздил ослушавшегося Ученика и когда? На переходе-повороте, перевороте чрез главу мортале на путь Истины. Пресечен был выбор выбиратья к жизни Верной. Вот это Бес! Бесподобно!.. в безобразии Смерть разливается одна бескрайно. И я, балда, так безоглядно верил в Его затеи самоутвержденья, украшенные мистикой и смыслом здравым, что пренебрег задачей очищенья Жизни, без которой нет Искусства Божества, но лишь Искус прелестный Чертовщины. Прогоркла сладость, зазывность ярких зрелищ – чешуя без катарсиса души живой златого.

«Балда? – мне Пушкин возразил. – Кто верил очень простодушно в убийственную месть Командора, тот неприятзательный баламут. Прости, прости друг, сорвалось. Язык – враг мой. Тот дурачок, жующий узорный пряник медовой на базаре за чуть позолотную медяшку. Исправим завтра мы промашку. Сегодня Праздник! Угощаю». – «Балда» шампанского явилась. На место красное садись, пируй и веселись.

Но я сурово (что за диво!?) не поспешил на братский Пир с Поэтом. Потерпеть Его просил и испарился, улетел на завтрашнюю встречу Диего де Кальвадо (иль Гуана?) с Доной Анной, всегда де Со-Льва. Что ж там за таинство случилось?

Сцена 4. Четыре света стороны, в кружение жизни начало встретится с концом и справедливости квадрат здесь и сейчас же разрешит несоизмеримость катетов с диагональю. Обитель Благодати, герои на местах и старт приветствий позади.

Я приняла вас. Чем занять? Боюсь, Дон Диего, скучная печальная беседа вдовы, которая все помнит искренне свою потерю. Я бедная вдова.

Богатства Дон Диего не искал другого, не нужны слова, Призрак виденьем Идеала насладится молча. «Глубоко мыслью быть наедине/С прелестной Доной Анной», через Верность причаститься к истокам жизни цело-мудренно-простой и полной, зреть-зреть-зреть в Ее долге Браку...

«Благодати невидимые Слезы
С улыбкою мешаю, как апрель.
Что ж вы молчите?»

Успокойся, Александр! Неделю Страстную 1821 года ты искупаешь девять лет и не простишь гремучий «перебор» до дней последних; я знаю ты готов за благовещенье на смертный бой, я знаю, не желая вовсе знать, как ты не лишь раскаяньем искупишь считаемый тобой непоправимый грех. В слезах улыбка Благодати, Александр...

Дон Гуан

«Наслаждаюсь молча,
Глубоко мыслью быть наедине
С прелестной Доной Анной, здесь – не там,
Не при гробнице мертвого счастливец -
И вижу вас уже не на коленях
Пред мраморным супругом».

Здесь не Гуан, здесь – Диего Единственный кого доверием почла Она. Здесь не на коленях видит де Кальвадо Благодать, застывшую пред счастливецем мертвым, но живой, а значит, то определено, что все неопределенно, еще не-до-определено в своей незыблемой стати. Все в живости стан-новление, стат(ь) заочна.

И Дону Анну интересуеет ревность Дон Диего. «Так вы ревнивы». Чья мелькнула память? Ужель черты Лауры Анне не чужды? – «Мой муж и во гробе

Вас мучит?» Что различает простодушная жена? Жизнь и смерть? Разно отношенье к умершим среди живых, родных и близких, как она, и дальних незнакомцев, как Диего? Командор, да мучит Дон Гуана и

Дон Диего: вместе, врозь, и так и сяк. Но, несомненно, Анна чуть от скорби отошла: не всех людей жизнь должна быть посвящена склонению перед гробницей Командора.

Гуан не должен ревновать. Не должен? Без рева страсти не бывать. И с ревом лишь – корова, которую не короновать.

«Не должен», ибо сделан выбор Ею. Воля Дамы такова. Законы, случаи, сомненья – ерунда. Она решила. Судьба Гуана и Диего Чашей Командора обнесла.

Негодует яро младость на неравенство поднесенья блюд. В Прогрессе безвозвратно. Ах, кабы все текло витиевато...

Дона Анна, кто к кому стремится? Иль счастья птица неволью жалостью крыла трепещет, хочет обратиться на поиск своего гнезда? «Нет, мать моя

Велела мне дать руку Дон Альвару,
Мы были бедны, Дон Альвар богат».

Верна рука, а сердце в дреме. Бедности нужда, пустая чаша... Но Душа и Брак Законный уравнивали груз сокровищ Дон Альваро. Почему, о Дона, умолчала о всех мужских достоинствах и доблестях ты жениха? о нежности заботливой, отцовской, супруга? Анна, Анна?!

Гуан жалел единый раз, что не был обладатель семи чудес земного круга. Если б знал гуляка разудалый, беспробудный мот, что может так сгодиться эта мишура...- Скупой и распервейший Плюшкин прослыли б меценатами тогда пред алчностью Гуана.

«Счастливец! Он сокровища пустые
Принес к ногам богини, вот за что
Вкусил он райское блаженство! Если б
Я прежде вас узнал, с каким восторгом
Мой сан, мои богатства, все бы отдал,
Все за единый благосклонный взгляд;
Я был бы раб священной вашей воли,
Все ваши прихоти я б изучал,

Чтоб их предупреждать; чтоб ваша жизнь
Была одним волшебством беспрерывным.
Увы! – Судьба судила мне иное».

Иное? Гуан, один в один ты повторяешь клятвы
Дон Альваро матери отроковицы, чей лепет мимолет-
том разрушил неприступную в бою броню. Гуан, Гуан,
ты, как старик жену в жадобу превращаешь, ибо
жизнь... Вот Евгений, но не гений неги, но не в скуке
праздной и унылой, а служащий, поэт мечтает в два-
три дня разлуки.

Жениться? Ну... зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно,
Но что ж, он молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Он кое-как себе устроит
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит.
Пройдет, быть может, год-другой -
Местечко получу – Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

Где истина? Где объективно есть то, что есть и быть
иным не может, не должно? И там, и там. Брак тяжел,
кто б на него без воодушевления пошел? Кто б, заране
рассчитав все минусы союза, из них нагородил дворцы
из плюсов? Невестится невеста, лих жених. А взялся за
гуж, не говори, что не муж. Поэзия своя есть у супру-
гов: она упруга в очаге трудов упорных и чистых нег
обители, в которой Вы Родители...

Куда, куда умчались, заскочили, завихрились в чем?!
Вернемся к омуту «паденья» в брак (брак!). Черта уче-
ник, шептал: за счастье назвать единственное имя, лас-
кательно и уменьшительно его без устали шептать, за

блаженство несть на вые подаренный ей талисман — женюсь, женюсь... Она — для света Дона Анна, дома — Анята, Анечка, Аннушка!..

«Женюсь, женюсь, какие могут быть сомненья» — меж ними ликовал Сам-третей. Дона Анна, Благодать и Верность, спешу, лети скорей на сладко изливаемый елей — на линии трамвайной уж Аннушкой масло пролито... Горенко Анна наотмашь выскажет Хозяюшке все.

Остричь рога салютами побед не рановато ли, Лукавый?

Диего — Тень твоя, но он и Призрак Командора.

Чье знамя-знак сегодня будет реять вершиной жизни иль зиять, коль Гуан стремится без оглядки в сторону одну?

«Диего, перестаньте: я грешу,
Вас слушая, — мне вас любить нельзя,
Вдова должна и гробу быть верна.
Когда бы знали вы, как Дон Альвар
Меня любил! О, Дон Альвар уж верно
Не принял бы к себе влюбленной дамы,
Когда б он овдовел. — Он был бы верен
Супружеской любви».

Пат. Смахнул с доски фигуры Сам-Третей. Останемся друзьями верными, без любви, точней, с любовью, несовместимо разделенной: Гуана к Анне, Анны к Командору. Живущий Камень не перевесил Окаменевшего Живого Сердца. Прощайся Ученик и к Лауре лети за горьким утешеньем.

Гуан-Диего разбит, он в мертвой точке поражения Любви Страстной — Дружбой Верной. Как Дон Карлос, молит он так безнадежно, скорбно, так искренне своей разбитою пращей.

«Не мучьте сердца
Мне Дона Анна, вечным поминаньем
Супруга. [!] Полно вам меня казнить...»

И Ученик искусства первый прямодушно бросается на погибель себя виновным объявляя в несчастиях Четы. Осколки спадают каменной брони.

«Хоть казнь я заслужил, быть может».

Не связанный святыми узами влюбленный разве может быть не правым перед любимой и пред небом? Именно «перед вами! Боже!»

В чем вина?

Не признавайся ни за что! Возненавидит и тебе конец бесславный, лучше откажись от исполненья рабского ее любых желаний – шептал, остановившись на пороге, Тот, кто отбрасывает Тень.

Руби-к-Он: Гуан отказывается в третий раз.

Не смею

Вы ненавидеть станете меня.

Нет, нет. Я вас заранее прощаю,

Но знать желаю...

Дона Анна! Загнал Вас в априори пыл любопытства, чем же может быть в себе притягивающая вещь? Иль Вам так дорог Дон Диего, вторая, признаваемая Вами дружеская Ваша половина?

Горгоной каменящей Истина бывает; далеко не все среди бесконечных сущих на пользу человеку, на благо жизни роста. «Не желайте знать ужасную, убийственную тайну».

Все, все, что ужасы таит для сердца смертного мучительно, ужасно, страшно любопытно: «что такое?» В незнании не можем себя оскорбить предположеньем, что Вы – мой враг. «Я вас не знала – у меня врагов/И нет и не было. Убийца мужа Один и есть».

Как быть Диего? Из-за угла вот-вот покажется Горгона, Сам-третьей от окамененья испарился без следа. Развязка... где щит с зеркальной гладью, что Истину не исказит? Исповедь-признание. Но от третьего лица вначале, с медленным поворотом от профиля в анфас. Лучше Смерть с Истиной глаза в глаза, чем Жизнь Косая!

«Скажите мне, несчастный [!] Дон Гуан
Вам незнаком?

Нет, отроду его

Я не видала [Уж влюблена, а вот в кого совсем не
знала].

Вы в душе к нему
Питаете вражду?
По долгу чести».

Но это чисто теоретические изысканья, здесь – сей-
час не к месту. «Но вы отвлекать стараетесь меня от мое-
го вопроса, Дон Диего, -

Я требую...
Что если б Дон Гуана
Вы встретили?
Тогда бы я злодею
Кинжал вонзила в сердце».

Гуан несчастный, Диего де Кальвадо, не дошедший
до Дон Альвара! Благодать, Супружества законы без
сомнения лишили б жизни беспредельную Любовь.
Вильни от Истины, чтоб приволакиваться дале за Хро-
мым, или умри, изыди из непролазности Рогатой. Есть
выбор? Нет. Распятье несоразмерно с волей четырех
земных сторон.

Смерти не избежать и с Дьяволом Самим. Прочь,
прочь -отныне и навеки – наваждение. Я смерти луч-
шей не желаю, чем в исповеди Истины от кинжала
Чести в руках Любимой. Обнаженно-бьющееся Серд-
це мне более не принадлежит. Долг чести, не бранясь,
готов платить

Дона Анна!

Где твой кинжал? вот грудь моя.

Благодать с разящей смертью сталью? Пронзающее
в прах сердце, впервые после бесконечных лет забив-
шееся, потянувшееся к жизни среди громады осколков
каменных? Нет, нет, нет! И простить нельзя Гуану, пе-
речеркнуть всю верность жизни – одной единственной.

Другая невозможна! Где мера? Однозначность где? В несовместимости моги, не узнавай, цепляйся с чем уже сдружился, в волнах недоопределимости, в глыбе нео-пределимости тони.

«Диего!

Что вы?

Я не Диего, я Гуан.

О боже! нет, не может быть, не верю.

Я Дон Гуан.

Неправда.

Я убил

Супруга твоего»

После косвенного указания трижды произнесено то имя, которого быть не может в мире Благодати. И утверждено: «Я убил

Супруга твоего; и не жалею

О том — и нет раскаянья во мне».

Когда б на дуэли вздорной не рухнул Командор, все было бы иначе, то есть без любви к Тебе. Непрерываемо, фатально в каждом проявлении самом малом все-все, что случалось, ибо рока случай финален по прямой: «Я Дон Гуан, и я тебя люблю».

Бывает ли на сем цветущем свете Благодать без мук? Наверно. Где-то в детстве самом раннем, когда совсем не ведая того, что дарит, прильнет ребенок, подхваченный руками доброты необычайно сильной, к взрослому и радостно смеется... Сколько перетянет он темных бездн... Или в Раю, на островах Блаженства... Здесь в испытаньях запредельных граней питает грешных Благодать.

«Что слышу я? Нет, нет, не может быть».

Я так ждала признанья и получила гораздо боле, чем ожидать могла. Опасалась... что та опасность пред тем, что оказалось. Все в исключение одно, все разом включено.

«Где я?.. где я? мне дурно, дурно».

Я верую, я верую как никогда никто не верил и не сможет верить. Небо! Любовь моя повергла Благодать и Верность именем проклятым, я отрекаюсь от него.

Встань, встань, проснись, опомнись: твой Диего,
Твой раб у ног твоих.

Оставь меня!»

Жива! жива! жива!!! И продолжает говорить со мною — слабо, заклиная [того, кто уже убит]... Значит будет Анна жить!

«О, ты мне враг — ты отнял у меня

Все, что я в жизни...» [единственной? прежней?]

Милое создание!

Гуан ли это? Гамлета с Офелией свиданье!

«Милое создание!

Я всем готов удар мой искупить,

У ног твоих жду только приказанья,

Вели — умру; вели — дышать я буду

Лишь для тебя...»

Революционный Командор молодых поэтов 20 столетья о том же строки из «Онегина» молитвенно будет повторять... пока не грянет выстрел пистолета.

«Так это Дон Гуан...»

Молвой ошиканный злодей и изверг, взаправду покорный ученик разврата. Амурный список роздан. Шутка, сад озорных острот? Иль «записка»-покаянье? 113 любовь — заклятье рокового предсказанья?

Но с той поры, как вас увидел я,

Мне кажется, я весь переродился.

Кто отец? Уж мать должна известна быть. Сам? Весь? Не родился от от-ца (матери/и), не получил при-родное, а пере-родился! — Такое невозможно по законам строгим Природы. Иль вне Ее есть в жизни человека Что-то? Чей-то Образ?

Вас полюбя, люблю я добродетель

И в первый раз смиренно перед ней

Дрожащие колена преклоняю.

Дона Анна нежданно дождалась признанья, о котором она мечтала с момента пробужденья женственности, которую Судьба загнала в невозможность. И верит

и не верит. У всех в родстве Фома есть, в миг исполнения не замедлит он явиться, чтобы ощупать раны – Истины критерий. Без предъявления сих, чрез щель сомнений уверений голословных протискиваются хвост, рога, копыта...

Хитрый искуситель красноречив, бедных женщин погубил без счета безбожный развратитель, его волшебные слова – приманка жертвы новой. Поверить, что он влюбился в первый раз, самой переродиться и... в двух перерождениях искать возможность мир начать исконный, вечный, неподвластный Природе, где все начавшееся смертно, где только Время неустанно.

Против обмана Имя. В держанье слова Именном перерождение сути и существования, всего до кончиков ногтей. Заклятое неминуемой смертью Имя пронесено не раз, не два... Где ж тут обдуманность, коварство? Бьющееся не в броне камней, впервые любящее живо живое Сердце – Ваше, Ваше целиком.

Кто знает вас? – Последний бастион. Никто, кроме Доны Анны де Сольва. Для Вселенной достаточно вполне и впредь несокруσιμο. Фома уходит. Трепет первый зарождения Любви взаимной – страх и забота о Своем Другом.

Кто знает вас? – Но как могли прийти

Сюда вы; здесь узнать могли бы вас

И ваша смерть была бы неизбежна.

Джюльетта!

Ромео: Что значит смерть? за сладкий миг свиданья

Безропотно отдам я жизнь.

Поэта клятва. Какой же Вы неосторожный, Александр Сергеевич! Как выйти нам из предсказаний о гибели, связанной с женой, из неволи чести за Даму, за Жену? Готовы Вы божественную лиру отложить и, возможно, быть убитым...

Целуя Ей руки

«И вы о жизни бедного Гуана
Заботитесь! Так ненависти нет
В душе твоей небесной, Дона Анна?
Ах если б вас могла я ненавидеть!»
«Я б никогда не полюбила, Но как на
свете без любви прожить». Судьба
выкидывает шутки, не глядя карты раздает.
Как сердцем я слаба. Зашла так далеко,
так быстро, отдышаться надо.
«Однако ж надобно расстаться нам».

Не тянет с расставаньем как в монастыре, Гуан. Он
смаху эту смерть малую любви одолевает назначеньем
Встречи новой. Быстрой, там же, где обоюдный был
успех. И знамя славы в сердце слабом водружает – но
как прощения залог – поцелуем мирным.

Пора, поди.

Один, холодный, мирный...

Какой ты неотвязчивый! на, вот он

Взаимность целостью венчанна – по-целуй; по-це-
лому жить предназначены бывшие половинки, все их
начала и концы переплелись в венок единый новой веч-
ности животворящей.

Ломится в дверь Судьба. Землетрясения Былого,
пожар и наводнение и вой ветров -хаосятся стихии все
4, космы роковые врываются в рас-пятие. Неизбежна
Смерть. Благодать тревожна.

Что там за стук?.. о скройся, Дон Гуан.

Береги Любви едва затеплившуюся завязь.

Прощай же, до свиданья, друг мой милый.

В бегстве, в тайне сохранить столь выстраданное
чувство... Кто ж поверит, что Смертельная Праща пе-
реродилась вся? Добился, как обычно, своего и был та-
ков: прощай... Нет: до свиданья, друг мой милый. Лю-
бовью горд я, с ней Живу и умереть готов, она уйти

просила, чтоб до помолвки пересудов избежать. Уйду, но Сердцем с ней останусь; не знаю, как до завтра доживу, вернусь и больше не расстанусь.

Уходит и уйти не может, вбегает опять: А!..[анн]а!..
[Не жить вдали мне без Тебя]

Что с тобой, Гуан? А!.. Дон Альвар!..

Входит статуя Командора.

Муж жив. Дона Анна падает (не вдова). Статуя Брака, Закона, Верности, Долга, Любви.

Я на зов явился.

Гуана интересуется только жива ли Дона Анна, есть ли присутствие божье или Он смерти невольный виновник Той, которую впервые и единственно Любит?

О боже, Дона Анна!

Аз воздаю. За все. За все, что было, есть и будет. Незыблемость Пребывающего пред Тобой.

Статуя: Брось ее.

Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.

— Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.

— Дай руку.

— Вот она...

Радость тяжела, но дрожь и преклонение колен лишь пред Любовью Благодатной.

О, Атланты, о, Геракл, о, всех народов и времен герои! — тяжело

Пожатье каменной его десницы!

Вновь каменных объятий Любящему
не перенести, уж мне не быть Любви Прашею,

Оставь меня, пусти-пусти мне руку...

Сердце неподвластно миру мертвых глыб

И бьётся лишь Дыханием Иного Бытия.

Одиновость бездыханна

Я гибну — кончено

конечное — о Дона Анна!

Славию Благодать, меня Любовью задарившей. За миг этот трижды стоило Жить и будет умирать не страшно. Хотя сейчас...

Проваливаются.

Чего рукопожатье верный знак? Мужское, крепкое. Спасенья? Эстафеты, передачи Чести, Храненья Очага от их защитника загробного Живому, явившего достоинства Доброты и Любви единственной Вдове?

«Там» измерений нет сует, расчеты точны смехотворны. Смертную стрелу времен, пространств неуместных в относительности «верха-низа», «права-лева», «поперек и вдоль» видит наблюдатель, покуда отделяется от Благодати чертой расчетов, отвлечений, разъятий и изъятий. Изъятий «я» в хлад сухой рассудка.

Ну, Александр Сергеевич, царь-пушкинская шутка. Ужас просто роковой: все гибнут. Мистика загробного возмездья! На самом деле Жизнь, драма оптимизма, даже преображение в живую добродетель грешников, гуляк беспечных, мотов праздных и блеска неплодоносной верности святым камням. Утопия? Да! Но не утопленников безмерности пустой, кроме-шной. «Есть место на земле» чете счастливой, «два чувства дивно близки нам...»

— Аль...Ал...

— А Льва, Со-Льва!.. — смеялся звонко, искрился ало Пушкин. Вскинул руки и палец указательный длани правой у губ мне повелел не говорить, не взглянуть...

— Рождение четы счастливой... — на расстоянии не мог Поэт глагол прозрения Изумленного остановить. Меня порывисто он обнял, в радостном восторге стал кружить. Веселье расходилось бурей, в замяти его мелькнуло разноцветье блесков.

Проваленный Командором с суетного света Гуан перестал быть собой. Кем стал? Жуаном. А по-русски? Иван! Русь — страна Иванов. Богом Дан, наипервейший благовестник — Иоанн. Дон, наделенный благодатью, ИоАнн. И-В(АН+АН(НА=...

...Тани ларец открылся в чистейшей прелести Наташи Гончаровой, божественной Таши Образец.

Рождающая. Дона-Мадонна. Животворящая Благодать Любви!

Пара. Пора Поэта золотая. АС в Болдино АЗ.
ЦАРЬ ПУШКА.

Поэт космической музыкой очарован. Демиург Ма(те)рией богат неистощимо. Гончар стиха огончарованно взволнован и Мать творений стремлений Целости полна. Гончар, огонь запечатлений в глине высший гений семейну амфору создаст...

Возраженья о невзгодах, о трудах соузной жизни, долго невозвратном воспитании детей, рогах измен опасных, обо всем подобном и о предсказанье роковом стихали эхом, прятались в норку: потом, потом, потом... Тсс! Не будите Парку, счас пряха сладко спит за веретеном.

Кто, кто камень бросит?

Гулкий выдох все ж из глубин раздался, пал жемчугом на ракушки ушей:.

«Спасибо! Дух мой освобожден от проклятия каменный мистики и мести, от вины невольной в горе безотрадном Анны, от ржавой накипи предвзятых заскорузлых мнений. Отныне вечно я покоен, вручена Судьба в Чести хранимой мною Лани, мне блюстившей искреннюю Верность, в мужские длани Доброты, Любви и Чести. Прости, на век прощай... Пращу Любви прощай в Любви с Любовью...»

ПРОЩЕНИЯ

Мы пиروвали. Пробочный салют сопровождал признания, уверенья, шутки, рой воспоминаний, смех... Особо прибалдели за Прекрасных Дам, за тайную сердешную зазнобу.

– Жаль, жаль, не угадал, что окажусь у Вас в гостях, я б непременно захватил творенья Дмитрия Ивановича...

– Царевича? Самозванца?

– Нет, изобретателя подлинного водки, напитка царского, такой слезы горючей, чистой нет в мире лучше. Кстати, Александр Сергеевич, дочь его Любовь вышла замуж за тезку Вашего, поэта, которого считают многие наследником Лиры Русской в XX веке. Себя он раз лишь гением признал, когда писал о ветре, снежной буре... Вам кланялся, особо в день последний, «уходя в ночную тьму с белой площади Сената».

– Так значит не забыли наши были. Но в чести ли мы живой иль преданы былинной пыли?

– За всех не смею отвечать. Но юбилеев, шоколада много. Давай сегодня лучше пировать, «сват Иван коль пить мы станем, обязательно помянем...». По доброму рецепту предков и победителей, Александр Сергеевич, не откажи любезно, прошу помиловать героев тех, которые подвигли нас на встречу дружбы, помогли блаженство единенья пережить.

– Так и быть! – ответил сразу, будто только ждал сего. И мне подал готовый стих.

Отрок.

Невод рыбак расстилал на берегу студеного моря;

Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы;

Будешь умы уловлять, будешь помощник царя.

В миг мы захлопали оба, смеясь. Вновь неиссякла вина заздравная чаша.

— То Ломоносов, — я рек однозначно.

— Конечно, мой милый, конечно! — Пушкин был донельзя рад и смеялся до слез.

Своим простодушием чистым глубины течений скрывал в Океане бездонном. Еле-еле натужным умом я кумекал: каждый помощник царям тем, что наловит в душевный свой невод... Иль помощник многим царям сверху один... Симон Рыбак — Петр апостол... сам Христос... Во куды в чаше вины невод занёс гуляющих праздню. По(следам) беды. Праздник, добытый слезами, потом и кровью, соль и полынь... Как же Сальери? Отлынь и остынь, нет злодейству прощенья. Бредни оставь, борода. Сроду там без броду. Но исторически, тот реальный большой композитор — не Инквизитор. Точно не убивал он собрата, злая глухая молва виновата.

— Аль... Александр-р-р-р! Сальери помилуй, приведи гармоний приговор в соответствие хоть какое с эмпирией, взвесь тяжесть точной наукой.

— Хочу, но не могу. Я времени своему привержен (Ба! Изыми Поэта из эпохи его — какая черная дыра тебя косою улыбкою коснется!). То, что писано пером, увы, не вырубишь острейшим топором. Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман.

— Что делать: как свести концы с концами?

— Чего разохался, как баба, как лягушка, очутившаяся в гнилой кадлушке! Квак-квак, да все не так! да нет такого-растакого! Возьми и сделай сам!

— Шутить извольте, Сергеевич Сан! К классике касаться. Увольте, Бога ради!

— Да все мы классики, непревзойденные, в вине! Когда писал, издал — с пиететом много ль год за годом отнесли к произведению? Классиком считали, чтоб только с парохода прогресса рухлядь глянцевою сбросить. Ты ж угадал по своему закрут идейный. Садись и помилувань, раз сердце просит, напиши. Не бось. Ты не плагиатор, свое поставишь имя в переделке. Я разрешаю, я, в конце концов, велю: хочу помчат к невесте скоро, авось, прорвусь чрез карантин, обойду холеру. Поверь, мне будет очень интересно, как справишься, друг мой, ты с тобой же заданной головоломкой. Ну, за дело! коль не сробеешь до обмороженья, то сработаеть прилично, я верю. Лично я для таких, как ты, писал.

Я невольно просиял и схватился за перо. Стило стелило мягко... Сжал жало и меня зажал: Ужаснулся глупости, нахальству. Поздно, поздно отступить — Поэт не будет с трусом пировать.

Вновь вчитываюсь в текст, иначе целюсь. Сейчас забью... Загнал себя в изгойство со всех сторон, а как отлично было, упоительнейший вечер с Пушкиным живым, веселым... Сосредоточься. Ключ ищи. Печенкой Прометея чую — здесь он рядом, под землей. Меня то дразнит, то подбадривает взглядом, то прыснет смехом, то из-под руки бежит... Виденья не по делу, обрывки разные, как я пьян... соображаю, что все они из детства... Где ж связь в калейдоскопе? Чуть поворот и все стекляшки, умножаясь зеркалами в узоре прихотливом, озорном, неповторимо ускользают мимо, безвозвратно... Стоп! Себя ударил в лоб, в искрах озаренье заиграло, ровно разгорелось пламя вдохновенного труда. Что общего? Вы догадались? Конечно, «то» в вопросе «что?», в ответе — «кто». Будь я до смерти беспробудно пьян, спасет Сальери мальчуган. Каким он был сам, иль Моцарта ребенок, с которым он резвился, иль отрок, помогавший родителям, стране, царям.

По тому, как быстро я листы перебирал, Пушкин понял — решенье найдено и терпеливо ждал плодоношение отрока в литературе, не исключая, впрочем, явной дури. Но главное — меня он поддержал в «исправлении собственной ошибки». При мненьях разных очень все ж лбов толоконных не предвиделось сшибки. Ну, поржем на пару... Или к дороге ретивые кони ржали? Поторопись.

Вторая сцена. Моцарт и Сальери за столом в трактире «Золотого Льва» на 1 этаже. За окном сад.

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара» сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла.. Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство -
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери

Ты думаешь?
За гениальность творческую чашу
До дна нам должно осушить,
Шампанским полые стаканы «освежить»

(начинает аккуратно наливать шампанское в стакан Моцарта, достает яд и... Дверь с грохотом распахивается, прашей влетает в комнату пострел, бросает золотой в сторону сидящих и бросается под стол, толкнув Сальери под руку. Из-под стола продолжающего «бежать» на коленках мальчугана.

Дед... ушка вел
...лел вернуть монету.
Он платы сверх брать не может.
С того, кто в бедной старости его
Ему дарит душевную отраду
И возможность с пользой общей честно
Зарабатывать на хлеб...

(С последними словами мальчик выпрыгивает в сад через открытое окно. Переполох, беготня, поиски озорника продолжают еще какое-то время. Моцарт смеется до слез, до коликов. Сальери окаменел: яд любви просыпан на пол и шипит шампанским).

Моцарт полнит стаканы.
За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

(Пьет)

С а л ь е р и

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня:

(Поднять стакан еще не в силах. Моцарт садится за фортепьяно и играет Requiem. Сальери плачет: Бить еще раз иль не бить?)

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершал я долг
И шалый случай, нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

М о ц а р т

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии!..
Но я нынче не здоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

Сальери

До свиданья.

(один)

Ужели Моцарт прав и я не гений?

Гений и злодейство две вещи несовместные.

Как везет гуляке! Слепые и глухие,

И сопляки чумазые, босые —

все за него до одного.

(За окном ночь, улица, фонарь, аптека).

Удуше Рока в немоте вертается змеею с ядом новым.

Не тварью быть дрожащей, сметь каинствовать снова?

Паз уха камнем мести замуровать наглухо?

Ослушаться и слушаться кого? Все тоже острие: быть
иль не бить?

Бьют! Бьют во все колокола: «Чума, чума, чума!»

Сцена 3.

Спустя недели три иль боле. На улице возле аптеки
задумчивый глубоко Сальери.

Нет своенравней Рока.

Освобожден Чумою я

От исполненья взваленного на себя

Рассудком строгим, непреклонным

Труда жестокого, преступного для чистюль сторонних.

Есть, есть, Правда,

Правда, кроха мелкая, сухая.

Воздушный поцелуй чумы

И бог, творец музыки неземной

Обрел покой...

В могиле общей, братской...

Немой, неотличимый в прахе

Средь массы безызвестных тел.

Как радовался он всегда признанью

Своей Музы грубой гольтьбой

И вот навеки слит с безымянной толпой...

Не повезло иль, беспечный, так именно хотел?
Так иль иначе, грузны неотвратной Смерти узы.
Все ж знать бы я хотел,
Как Моцарт умирал?
Наверное я бы «свой» Requiem играл?
– Вот он, вот он!
(Вдруг мальчишка завертелся юлой вокруг Сальери.
Без следа исчез и через миг явился не один)
...Тот господин! Тот верный...
(Пострел, крича, что было мочи
волочил слепого скрипача к Сальери).
– В самом деле? Ты не ошибся
Людвиг? Слава Богу! Провиденье есть
Беги, попрыгай недалеко, дай
Спокойно старику исполнить святу волю...
Не чаял я, что дней моих болезных...
– Хватит, хватит предисловий.
Второй раз случай и последний, верю,
Свел нас. Мне не до тебя, скрипач,
Но парочку минут твоей несвязной речи
Я уделю, собрав в кулак терпенье,
Только не фальшивь несносно. К делу.
– Дней несколько назад,
Еще в разгар пиров Царицы черной
Раб Божий, Ваш слуга покорный,
Нечаянно прослышал от соседа,
Что при смерти хороший человек
И музыкант, как я, веселый.
Сил нет уж сыграть, так он услышать
Жаждет на одру
Мелодию счастливую одну.
Никто из среды музыки не соглашался,
Соскальзывало в пропасть время.
Заоблачная плата профи
Не привлекла нимало:
Чума в дуэте главной выступала.

Я ж стар, смерть скорая – не мука.
Для внука заработать
Не выпадет уж случай таковой.
Богоугодное, главное, дело.
Музыкой пособить освобождению
Души от тела.
Вошел один, чу, знакомый слышу голос.
Очень слабый, но такой родной.
Ах, Моцарт, Моцарт!
Поверите ль, господин
Он радостно, тепло меня встречал:
«Ба! Какой роскошный музыкант!
Друг старый, ты лучше всех меня
Отсель проводишь. Вот плата.
Скорей, скорей за мной
Бравурно, громко начинай».
Скрыпач играет.
– Что!?!.. Что мелешь бес-пардонно,
Старый хрыч, я не единой ноты не узнал.
Разве такова
Величественного Реквиема игра!?
– Обманывать не смею я господина,
Как не обманывал намеренно я никогда.
Та музыка была (божится) совсем иная.
(Играет старательно, почти не фальшивя)
Ла-ла-ла-ла!
– «Тарара»! Моя с Бомарше «Тарара».
– Вам плохо господин? Не вызвать
срочно ли врача?
– Нет, нет. Сейчас, сейчас вздохну.
Дурманит после заточенья воздух
Свежий, чистый. Будь добр,
Мальчонку, Людвига, ко мне пришли.
Я обучу его гармоний звучному искусству
Бесплатно, ради Бога.
Высший толк, кто знает, осенит ли душу,

Но без нот фальшивых мастерство его
Приятно будет людям слушать
и чувства добрые будить.
Раскланиваются.

– Что ж переделка неплоха.

– Сойдет? Пока не подвернется лучший случай. По косточкам с Вами я б разобрал стряпню...

Прости, мне к Натали давно скакать пора, не осуди хозяйского греха, тебе в помощи долго я держался. И ты бы мне помог, читатель мой дотошный, рьяный. Чем? Твой опус стихотворный подари мне талисманом среди российских бед, дураков, дорог. Не отпирайтесь, Вы болтали с Музой.

– Балуясь изредка, грешу. Как раз на днях наведалась капризница ко мне. Я был в гостях у Вас; конечно, заплутала Муза, ночь была туманна и темна, не ошибаюсь если подкрадывался ноябрю четвертый день...

– Читай, секунды мало.

Из дали далека
Чрез тучи-облака
Звезда,
Звезда взарилась!
Струной струилась
Благодатная слеза,
В дыханьи мира
Трепетно лучилась
Любви поющая свеча.
Гори и плачь! -
Труда Молитва
Животвореньем
Нежно горяча.

– Славно, славно! Друг, с этим можно жить!

Меня он обнял и порывисто бросился в дверь
Огорошенный признаньем за ним я поспешил, как
мог превосходя себя. Но где текущему угнаться за на-
стоящим? Лихой ямщик, седое время, свистел и трой-
ку погонял.

Я вослед орал: всего нам боле не хватает справного героя, упертого в плусе мужика. Как быть? Скоро века два литературы мастера его все ищут, лепят такого человека. Успехов мало, хорошо б пока. Стяжали славу мировую в писательстве разных стилей, направлений соотечественники наши. Триумф им, правда, героини приносили, не мужи. Прикрыть бы кем проруху на бабусе, Александр Сергеевич.

Глас вопиющего в пустыне?

Нет, голосом знакомым сам в себе я возражал.

Послушные всеобщему закону за десятки лет менялось все не раз и в стороны различны. Имею ль право я другим указывать, с какого образца свою единственную жизнь быстройбегущую набело писать? Но коль века нужда в герое ладном, признаюсь в Болдино я о Балде мечтал.

Тут я листки заметил с этой сказкой. Припомнил кое-что. Работник, ему сам Бес не страшен и не брат отныне: налог собирает, чтобы плату получить с попа. Балда не дурачок, царевичем не станет, а дуралейство с радостью оставит работы ради, чинящей жизни доброту, ее от порчи правящий в достоинство достатка. Заумно не затейлив, неприхотлив в обычной жизни, прирастает не спеша в цветах неброских да в плодах добротных. Прост Балда, не гениален, но и не дешев никогда. Написан как он, из чего, когда? Глядь, летопись творчества и жизни у меня в руках. Поклон низжайший авторам, открываю нужный год...

— Летопись жизни и творчества Александра Пушкина в 4 томах. М., изд-во «Слово». Т. 3. С 180.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Москва. 1830 год. 6 апреля. Воскресенье. Пасха. Пушкин вторично делает предложение Наталии Николаевне Гончаровой, которое принято; сватом поэта был Ф.И.Толстой (Американец)¹.

Сразу после получения долгожданного согласия Поэт в письме просит у родителей, находящихся в Петербурге, благословления «не как пустой формальности, но с внутренним убеждением, что это благословление необходимо для моего благополучия — и да будет вторая половина моего существования более для вас утешительна, чем моя печальная молодость». Пушкин сообщает также о расстроенном состоянии своей невесты и надеется на помощь родителей (там же, с. 180-181). На обороте чернового письма к родителям он составляет первый вариант списка стихотворений 1830-1831 для третьего сборника. «Стихотворений Александра Пушкина» (там же, с. 183).

Родительский ответ не замедлил: 16 апреля благословление дано с радостью. «Сергей Львович, рассказав о своих имущественных трудностях, обещает выделить Пушкину незаложенных 200 душ крестьян, доставшихся ему «по разделу от покойного брата» (ориг. по фр.)» (там же, с. 184).

¹ Летопись жизни и творчества Александра Пушкина в 4 томах. М., Изд-во «Слово». Т. 3. С.180.

Белая полоса жизни была и у брата Льва Сергеевича. По дороге в отпуск с Кавказа он провел около 10 дней в Москве. Очень кстати. Крайне деликатную миссию исполнил Лев. Представленный поэтом Ушаковым, посетил их дом и сочинил острогу о брате: «Он прикован/Очарован/Он совсем огончарован». Так Левушка начал готовить почву для сообщения сестрам о предстоявшей женитьбе Александра. Екатерина Николаевна Ушакова, более всего затрагиваемая сей переменой, оценила вестника: «он очень мил и любезен и кампанию сделал отлично, весь в крестах» (там же, с. 181-182). А бывший-новый жених?

В день отправления из Петербурга родительского письма с благославлением «Пушкин сообщает Бенкендорфу, что намерен жениться на Н.Н.Гончаровой, но будущая теща видит к тому два препятствия: «имущественное состояние» и «положение относительно правительства». Первое его не смущает, так как Государь дал ему возможность «жить своим трудом» (там же, с. 183). Материальные обстоятельства заставляют поэта умолять Государя о напечатании трагедии «Борис Годунов» в том виде, как он «считает нужным» (вторая часть письма) (там же, с. 184). Свое положение относительно правительства поэт считает «ложным и сомнительным», исключение из службы в 1824 г. и связанные с ним неудобства – «это клеймо на мне осталось...» (там же, с. 183-184).

На черновике письма к Бенкендорфу – портрет Н.Н.Гончаровой, набросок «*В пустыне пробился ключ*» и выписка из Гизо: «Безбрачие священников помешало тому, чтобы хр(истианское) духовенство стало кастой» (по-фр.) (там же, с. 194).

«Апрель, ок. 20 (?)». Провожая в столицу Льва Сергеевича, Пушкин пишет Е.М.Хитрово, прося тысячу извинений за долгое молчание, и рекомендует ей брата с надеждой, что она уделит «ему частицу той благо-

склонности, которой удостаивает» его самого (ориг. по-фр.) (там же). Чуть позже поэт напишет оставляемой Элизе: «я женюсь на косои и рыжей мадонне» (там же, с. 191). Капелька бальзама на рану. 23 апреля, День Георгия Победоносца, день рождения и смерти Шекспира-Потрясающего копьём выпал на середину недели. Этой средой Пушкин датирует стихотворение «К вельможе», обращенное к кн. Н.Б.Юсупову. Размышления о классическом язычестве, античном и просвещенном, итоги жизни счастливого человека екатерининского времени в контексте важнейших событий европейской истории, прежде всего Франции, второй половины XVIII — первой трети XIX веков. Поиск в них самого себя?

Через два дня на третий Пушкин создает «Новоселье», где интимный мир поэт, его ближайших мечтаний обрисован в бытовых масштабах.

Благословляю новоселье,
Куда домашний свой кумир
Ты перенес — а с ним веселье,
Свободный труд и сладкий мир.
Ты счастлив; ты свой домик малый,
Обычай мудрости храня,
От злых забот и лени вялой
Застраховал как от огня.

Несомненно, что стихотворение посвящено М.П.Погодину, который только что приобрел дом на Мясницкой (угол Златоустинского пер.) и которого 26 апреля Пушкин приходил поздравлять с новосельем. В тот же день Поэт приезжал поздравить дядюшку Василия Львовича (там же, с. 186).. А в Петербурге Вяземский письмом поздравляет Пушкина с предстоящей женитьбой. «Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения» (там же, с. 187).

28 апреля Бенкендорф сообщает Пушкину: Государь благосклонно отнесся к предстоящей женитьбе поэта; трагедию о Годунове разрешает публиковать «под личную ответственность» Пушкина. Никакого полицейского надзора за поэтом никогда не было, «но «в отеческом попечении» о Пушкине Государь поручил Бенкендорфу, «не шефу жандармов, но лицу, коего он удостоивает своим доверием», «наблюдать за Пушкиным и «наставлять» его; никакая тень недоброжелательства властей не падает на поэта, и, подтверждая это, он может письмо Бенкендорфа показывать кому найдет нужным» (там же, с. 188).

Поверим, поверим, поверим. Препятствия, пугавшие тещу устранены.

Среди слухов и пересудов о своей влюбленности и даже (точнее не бывает!) свадьбы поэт обедает у Ушаковых. Екатерина в сомнениях: то ли самодержавный поэт влюблен без памяти в Гончарову меньшую, то ли притворяется по привычке. Говорят: женится (уже женат!), а по виду кажется, что не имеет сего благого намерения, «но нельзя ни за что ручаться» (там же). Через день, 30 апреля, Пушкин (поручителем со стороны невесты) участвует в бракосочетании Елизаветы Николаевны Ушаковой и С.Д.Киселева, сначала в церкви, потом в доме Н.А.Шереметева у Сухаревой башни (там же, с. 189).

Таким выдался апрель 1830 года.

В царственной форме стихосложения Александр Сергеевич изобразил себя вечным зрителем Пречистой с божественным спасителем под пальмою Сиона. Завершает сонет благодарение Творцу.

Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне ниспослал, тебе, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

2 мая «Пушкин везет в дом Гончаровых представлять невесте своего дядюшку М.М.Сонцова. О помолвке объявлено всем родственникам, происходит обмен

визитами и посланиями» (там же, с. 192). На следующий день в письме к родителям и сестре Пушкин сообщает, что все улажено, что хотел бы сыграть свадьбу до поста, т.е. до 1 июля (там же).

Но маеты хватило и на май и на все лето. А в конце августа поспели горькие плоды.

20 августа Пушкин вместе с Вяземским присутствует на последних часах жизни и кончине В.Л.Пушкина. Он взял на себя все расходы по погребению и все хлопоты (там же, т. 3, с. 228).. Похоронили дядю Василия Львовича в Донском монастыре 23 августа. После погребения Пушкин с Погодиным разыскали совершенно забытую могилу Сумарокова.

В среду 27 августа Пушкин посетил Гончаровых, этот день закончился ссорой его с матерью невесты, после которой поэт вернул невесте ее слово.

На следующий день, в четверг Пушкин пишет Наталии Николаевне Гончаровой: «Я отправляюсь в Нижний, без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решила расторгнуть нашу свадьбу и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь под всеми мотивами, какие ей будет угодно привести... даже... если... они настолько основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было меня осыпать. Быть может, она права, а неправ я, на минуту поверив, что создан для счастья. Во всяком случае, Вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только Вам или никогда не жениться» (ориг. по-фр.) (там же, т. 3, с. 231).

Август 31. Воскресенье. Последний день года по старославянскому исчислению от сотворения мира. Письмо Плетневу: «Хорош!.. не хотел со мной проститься и ни строчки мне не пишешь. ...у меня на душе: грустно, тоска, тоска» — свадьба почти расстроилась. «Осень подходит. Это любимое мое время — ...пора моих литературных трудов настает — а я должен хлопотать о

приданном, да о свадьбе которую сыграем Бог весь когда... Еду в деревню, Бог весть буду ли там иметь время... и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского» (там же, с. 232).

1 сентября. Год 7338 от Сотворения мира начался с прощальных нежностей отъезжающего Пушкина с Погодиным и Вяземским. Последний сообщает в письме Е.М.Хитрово, что поэт уехал недели на три в Нижегородское имение, и успокаивает: хотя в Москве холера, «не беспокойтесь, это не в той стороне, куда уехал Пушкин!» (там же, с. 233).

Одолев 540 верст за 3-4 дня, Пушкин в Болдино 4-6 сентября занимается оформлением документов на вступление во владение землей и крестьянами, осматривает деревню, отданную ему отцом.

«Сентябрь 7. Воскресенье. Перебелен текст второй редакции стихотворения Делибаш («Перестрелка за холмами»), добавлена 4-я заключительная строфа» (там же, с. 234).

Отчаянные храбрецы, горец и казак, сшиблись в общем крике на неммыслимом скаку: «делибаш уже на пике, А казак без головы».

Эту железную неотвратимость смерти в любовой атаке, скрежет и лязг молниеносной рубки на конях, в коей Рубикон оборачивается Стиксом для обоих противников, очень любил Н.Гумилев. Не последняя ли, добавленная в Болдино строфа, застыла на губах расстрелянного поэта?

Пушкина же подхватывает и кружит над бездной грозный аквилон. «Делибаш» оживил переживания годовой давности, кавказскую войну, Сыганлу. «Аквилон» год 1824, Михайловское, начало северной ссылки, выплеснувшееся — вместо освобождения — из конца ссылки южной.

Ветер, грозный ветер, господин на всем свете. Взыграл нежданно и неведано зачем — и бурны, черны тучи разогнал, которые свод неба глухо облекали, и дуб низвергнул величавый, его надменная краса твердила неустанно: я переживу над высотой века. Так несравненно славен грозный Аквилон! Зачем ему клонить тростник прибрежный, мирный к долу? Зачем на дальний небосклон гнать гневно облачко?

В последнем, обильно правленом четверостишии, звучит надежда и мольба поэта.

Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостью блистает,
И облачком зефир играет
И тихо зыблется тростник.
Шесть лет, шесть лет...

Темнеет. Воскресенье канет вот-вот в Лету. Луна в тучах... То ли есть, то ли нет ее: саму не видно, а света хватает лишь на то, чтобы космы туч завивать и мешать с дробинками снега в плюющейся мути. Не в избе я, еду, еду одинешенек-один... дин-дин-дин. Страшно, тяжело, нету мочи, залепила вьюга очи, потерял ямщик следы. Хоть убей — так сбились мы (все семь «я») Бес нас водит, все кружит по сторонам и в о-враг — о враг! — толкает одичалого коня. Жив еще и что-то делать, делать надо. «Жив-жив-жив...» — вьюга злится, вьюга плачет и скликает весь со-бесовский у-род.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ли замуж выдают?
Беспредельно рой за роєм бесы мчатся в вышине
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

Дожить, дожить до понедельника! Любой он будет чуточку светлей, сильнее печалью холодной успокоен. Смутное похмелье — расплата тяжкая за безумное веселье. 8 — знак бесконечности. Ныне каков итог блужданий и стремлений среди ее неведомых равнин бесследных для неповторимых? Перекрестье двух нулей? Элегия. Вино печали чем старе, тем сильнее в делах минувших. В предстоящих днях?

Мой путь уныл, Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Не для того я бесам избеситься дал, чтоб сделаться их добычей. Люто сбит, но отбил, с их новым роєм еще поборемся, еще поспорим. Не ноль второй, а круг иной есть в значимости бесконечной для жизни дел сердечных.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Если бы творческая осень 1830 года длилась всего два дня и принесла всего «4 хлеба», их было бы достаточно для нерукотворной славы Поэта, для воспитания неисчислимого числа душ, голодных до единения живого в цветении вечной благодати.

Хронос мерно, необратимо и вперед неумолимо шел, неся происходящее одно за другим. Первые известия о появлении холеры вокруг Болдино датируются около 9 сентября. Вторник. Пушкин пишет повесть «Гробовщик». 6 страничек. Всего не схватишь, не усвоишь разом. Перечисление главного нас увело бы далеко и по сторонам кружило б долго, прежде чем вернуться к избранной стезе. Отметим понимание свое чертами несколькими.

Название говорит о жизни необычной. Смерть — жизни часть, для всех последняя и каждый в ней властвует за-у-покойно, принимает честь людскую от других за прожитое. Кроме того, чья жизнь вся есть отправление на хранение тела, создание дома мертвецам до душ их возвращения и Страшного суда над целым «я». Для большинства смерть — тень враждебная своей единственной жизни, для гробовщика она исток кормления себя живого, исполнение долга в смене лиц и поколений, народов и... Кто схоронит самого Гробовщика? — вопрос парадоксальный для естественного света разума, но я сегодня не об этом.

Двоякость странная в отношениях — объятиях — жизни и смертей людей подчеркивает жирно эпиграф.

Не зрим ли каждый день гробов,

Седин дряхлеющей вселенной?

Почему ж, еще жива курилка эта? Так о ней изрек Державин: тот, кто держит жизни внутри и изнутри, без ржавин. Кто, в гроб сходя, благословил младое поэтическое племя. Коль много таких, нет уходящему печали горькой, скорби безотрадной.

О чем же повесть? Кто герой? В каком он состоянии? Что в нем течет, изменчиво-изменно? Все ответы, все завязки в первом предложении. «Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом». Каждое слово в контексте отмеченных событий в жизни поэта на рубеже старого и нового года от мира Сотворенья обретает смысл. Последние пожитки, дроги похорон, пара тощая души платоновой (плато — ширь тверди высокой) в четвертый — всех сторон света — раз тащилась... Звали новосела Адриан Прохоров. Хор хорохорился голосами, порох жизни был еще не стыл. Страсти милый пыл... полюбил Андрияшка Наташку.

С родительского дома на Басманной к Ней на Никитскую... Пожитки впереди, дом прежний продан, сдан внаймы, сам пешком...

Суматоха в новом жилище заставила Андриана вздохнуть о строгом порядке ветхой лачужки, где прожито было осьмнадцать лет. (С 1812 года у Александра Сергеевича не было своего угла, невесте его было в 1830 году осьмнадцать лет. Осевое число для домашнего очага получалось. Разница в 13 лет... «Суматоха» – предсказание гадалки настораживало, но не пугало – мы поспорим и поборемся мы с Ней). Гробы, похоронные принадлежности в доме, вывеска на нем с изображением дородного Амура с опрокинутым факелом в руке – все свидетельствовало о прощании с вольной жизнью холостяка, с дон-жуанством. Надо было начинать жить по-немецки трудолюбиво, аккуратно... до свадьбы серебряной, радостно и широко отметить ее с представителями всех ремесленных цехов.

Пока же Андрияну и среди веселья не удавалось до конца избавиться от угрюмости и задумчивости. Наградил же жизнь профессией, что нельзя и выпить за здоровье своих клиентов. Они приносят ему благополучие, а он? Престранная ситуация – пить за здоровье мертвецов. Все хохотали, не заметив, что гробовщик почел себя обиженным и нахмуренным. «Чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане?» – пришел домой пьян и сердит, и все думал: долг платежом красен. И в замяти спяна такого нагородил батюшка, что пир во время чумы игрушечной страстишкой оказался. Позвал благодетелей своих, мертвецов православных, попить на своем новоселье! Чем бог послал?

Но видимо не человек, не бог, а Другой принялся тут же за дело. Пётр пошел славный: в эту самую ночь умерла давно болевшая купчиха Трюхина с Разгуляя. Видать, и ей захотелось Андриана поздравить больше

жизни. И заказ получил гробовщик именной, без конкурентов («Нимфа», туды ее в качель...) и о цене с племянником-наследником спору не было — лишь побожился по обыкновению, что лишнего не возьмет. Племянник самых честных правил...

День мелькнул в заботах, а ночью, войдя в дом, ноженьки у гробовщика подкосились. «Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы...». Всех благодетелей гробовщика рой бесов замел к нему на пир. Из тех, кому невмочь было явиться на приглашение, все же был один. Не мог не явиться, хоть с три-девятого царства, с той, потусторонней Луны. На маленьком скелете ласково улыбался гробовщику череп. «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича [с 1700 года все россияне Петровичи] Курилкина [жива ль ты, матушка Россия, под бременем имперского величия?], того самого, которому, в 1799 году [!], ты продал первый свой гроб — и еще сосновый за дубовый?» [Тот, кто прожил гораздо дешевле, чем мог и чем должен, транжирил царственную вечность на обманность якобы вечной наличности, может тому, лучше бы вовсе не родиться на свет на белый?]. С сим словом мертвец простер ему костяные объятия...»

Чье Слово было? И объятия костяные так ли тяжки как пожатье каменной десницы Командора?

Тут точка ухода в безвозвратность: либо жизнь, либо смерть. Каждая на своем месте во взаимопересечениях и напластованиях с другим, себе противоположным в целоутверждении.

«— Но Андриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович [полное подобие и рабский образ Императора] пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования;

все вступились за честь своего товарища, пристали к Андриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств».

Еще чуть-чуть и Сам-третей справлял бы новоселье Прохорова у себя. Тут неожиданно (из-за чрезмерно сильного ожидания) пальнула в Пушкина благая весть... Конечно, и только, и не от кого иного. Впорхнуло белой голубицей письмо от Наташки. — Зажил, пустился в пляс Андрияшка: эх, вы лапти, вы лапти мои, лапти новые...

Из перекрестья, из совпадения точки кризиса и рожденья мига выскочил герой в жизнь, она же дышала «вторым» дыханьем. Случившееся — не реальность. Сон пьяный. Впавший через похмелье тяжкое в непробудности, в сон до обедни солнечного дня. Перед наконец-то открывшимися глазами работница раздувала самовар. Отблаговестили.

«-Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.

— Вестимо так, — отвечала работница.

— Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей».

Пока русские Музы и работница неспешно, всласть чаевничают, Пушкин строчит письма. Прежде самого прежде всего ответ Натали. «Милая дорогая, моя милая Наталья Николаевна — я у ваших ног, чтобы поблагодарить и просить вас о прощении за беспокойство, которое я вам причинил. Ваше письмо прелестно и вполне меня успокоило». Почтительный поклон будущей, нет настоящей теще. Какие за пазухой обиды меж близкими-родными? «Целую ей руки с крайним смирением и нежностью» (там же, с.235).

Затем Плетневу, с коим не довелось свидеться перед объездом из Москвы. «Теперь мрачные мысли мои рассеялись... я в деревне и отдыхаю. Около меня Колера Морбус... — того и гляди что к дяде Василию отправ-

люсь, а ты и пиши мою биографию. Сегодня от своей получил я премиленькое письмо; обещает выдти за меня и без приданного... Зовет меня в Москву» (там же). Вот бы припасти денег, деньги вещь важная. В деревне хорошо: »...степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает. Уж я тебе наготовлю всячины, и прозы и стихов» (там же, с. 236).

Настал длинный осенний вечер. Сегодня покойно, умиротворенно. За чаем чается и в лад и в склад, а самовар неиссякаем...

Закончен «Гробовщик». Проиллюстрирована вся повесть: и чаепитие двух мужчин за самоваром, и мертвецы, и распятие, и... На последней странице внизу портрет Натали и «возница» в похоронном плаще (там же). Гончар замесил чары новой жизни. Семья, дети, домашние хлопоты и заботы. Зовет в Москву. Деньги. Как доехать? Из всячины проглядывает план следующей повести «Станционный смотритель», затем перечень названий всего цикла. Среди них остался неосуществленным замысел повести «Самоубийца».

В конце уходящего вторника, 9 сентября 1830 года от Р.Х. вспомнилась поэту пословица игумена Святогорского монастыря [!]: «А вот то будет/что ничего не будет». Что значит «ничего»? Все. И ничто – ничто и только ничто. И ничто – все, что ни на есть, что было, есть и будет, особенно «в руках» Божьих, одушевленное дыханием Творца. Такое «ничто» – «ништяк», отлично. Просто, наконец, «ничто»: все по-прежнему, без заметных изменений. Бросишь на ходу: «Как жизнь, дела?» – в ответ получишь: «Ничего. Спасибо».

Довольный днем поэт заснул. Спокойный сон дал силы. Со среды 10 сентября (декада первая кончалась 7339 года от мира Сотворенья) Пушкин параллельно работает над «Сказкой о попе и его работнике Балде» (закончена в субботу 13 сентября), повестью «Станци-

онный смотритель» (закончена в воскресенье 14 сентября; дата «13» зачеркнута) и над оставшейся без названия и неоконченной сказкой о медведихе (сама она погибла от мужицкой рогатины, медвежат не сберегла от продажи в неволю, забав, а к ее мужу, большому боярину, вдовцу горемычному, прибежали сочувствовать в печали, соболезнавать звери разные, лесочеловечья...). Продолжает оформление документов о вводе его во владение именем. Где-то в это же время посещает в селе Апраксино помещицу Н.А.Новосильцеву. Дочери хозяйки «решали» судьбы героев неоконченного «Онегина», придумывали иной исход дуэли. На «счастливейший конец» у Евгения с Татьяной поэт не согласился: «Ну, нет, он Татьяны не стоил» (там же, с. 237). Убил «романтического» поэта, но не преобразился. Любовь и Верность не сошлись на мосточке среди бездн.

В повестях Ивана Петровича Белкина много-премного творческого и немало биографического. Подробнее о них как-нибудь в другой раз, сей час ограничусь парой беглых замечаний. Во-первых, повести и трагедии (ни в коем случае НЕ «маленькие») нужно читать совместно, в едином контексте. Во-вторых, все повести кончаются хорошо, на оптимистической ноте. Хотя Самсон Вырин сам не увидел семейного счастья своей Дуни, заливал горькой болевшее за нее сердце и угощал деревенских ребятишек, а внучат приласкать ему не довелось, сон его заветный, мечта о благополучной жизни его сокровища сбылась и в великосветской столице Авдотья Самсоновна не забыла бедного «диктатора», долго лежала на холмике деревенского кладбища, согревая прах отца горячими слезами. Также с приключениями и злоключениями, очень прихотливо и невероятно, как в комедия Шекспира, закончатся добрым сказочным концом «Выстрел» и «Метель» (злая сила тут добро вершила), и «Барышня-крестьянка» (заяц «запустит цепь событий, которые помирят уездных Мон-

текки и Капулетти, и увенчается все свадьбой молодых влюбленных и живых). Все вместе они окружают и возьмут в оборот самую жуткую повесть «Гробовщик», тяжкий сон прервется колокольным благовестом и чаепитием с семьей. К стихотворению «Бесы» поэт припишет «Шалость». И сам перейдет в наступление на бесов, задаст им жару в сказке «О попе и о работнике его Балде».

ГЕРОЙ ХОТЬ КУДА

Два «о» в названии говорит о равноправии героев, каждый из которых полноценен сам по себе, и об их «встрече» как событии важном, судьбоносном. Вначале солирует поп, затем Балда.

Характеристика первого героя укладывается в две строчки.

Жил-был поп,
Толоконный лоб.

Отсутствие имени, фамилии, а также формула, распознающая жизнь из поколения в поколение, без начала и конца (не жил, а ныне уже нет, но жил и был — да так и будет до и после нас) четко указывает читателю, что речь идет о типичном представителе определенного сообщества. Главным в бытии попа является лоб, то есть живет сие сословие, не руками хлеб добывая — хлеб всему голова, а головой. Еще точнее, лбом, то бишь не поиском Истины, а ее поддержанием, утверждением и распространением. Давным-давно истолчены зерна литые истины в муку овсянную, полны ею закрома. Поптолок бьется лбом в темную стену невежества, зыбкие тучи сомнения разгоняет и преследует, клонит долу грех гордыни, вырывает сорняки ересей. В истинной вере поп крепок, тверд, неуступчив ни на йоту: не то, что за Дух, за букву, за ход обряда готов на раскол, на отделение зерен от плевел. Одним словом, лоб у него в справе полной, не может быть никаким иным, только толо-

конным. Литым из несокрушимой, незыблемой тверди полной, чистой и совершенной Истины, абсолютной Веры в обладании полной чаши Откровения обо всем и обо вся. И определение лба в качестве «толоконности» отбрасывает свет (рефлексирует) самую суть меткого русского имени для головного служителя, верного стража Истины – поп. Справа налево или слева направо, даже вверх ногами – отовсюду и всегда легко читается одно и то же. Совершенная идентичность. Концентрированная в одном шаге – «по», который не переходит во второй, третий и так «крутится» в чередовании до конца – «по-хо-д», а тут же завершает приступкой – «по-п» или «п-оп». То ли идет, то ли стоит, а скорее и то, и другое вместе. Изменчивость – не всегда изменность. Приступание – не преступление, грань – не граница. И в этом приступании в Истине поистине неприступен как для ведомых, так и для врагов неугомонных, алчущих под сидеть, спихнуть Царя с его Горы. «По-т-оп» бурлит, кипит «от» и «то», ток его грозит всемирным разливом. «Поп» стоит на обретенной Истине, приступая с ноги на ногу (все же жизнь! Надо пошевелиться, то чуть справа налево, то наоборот – в зависимости от Промысла, доходящего в указаниях верхов) и само-стояние это навека, в нем смысл и полнота главы и живота.

Был ли поп наш докой в Премудрости Божьей? Вряд ли нужно сие практически, по жизни для рядовых, низших и средних служителей культа. Следование традиционно-официальному Символу Веры, гибкое, как бы незамечаемое восприятие изменений, спускаемых «сверху» в толковании Предвечных догм – вот что реально надо для необременения совести пред Всевышним. Тонкости Тайн предвечных – дело Предстоятелей, мы же аккуратно следуем за ними – вперед не забегаем, отстаем не слишком, и вопросов – упаси Боже – не задаем, всякие они излишни. Поп наш принадлежал к мирным, справедливым (без рвения ярого) исполнителям.

Каков был его кругозор? Хоть и широка ты матушка Россия и церковь Православная готова свет Божий весь объять своей истинной святостью, средне-младший актив ее глядит на мир волостным, провинциальным взглядом. В привычных условиях. В условиях неординарных русский человек, как правило, не теряется; оставаясь самим собой, пускает в ход свои способности и смекалку, подсмеивается над дивящимся над ним «свысока» цивилизованным иностранцем и не понять, кто же кого заткнул за пояс? Уж на что при царском дворе франкофилия, а оказалась наша армия в Париже, победив самого гениального из их полководцев, и ничуть не оробела в столице мод, искусств и политеса. В 1827 году Пушкин выразил настроение россиян в борьбе с нехристом-буяном и его живодерами в стихотворении «Рефурация г-на Беранжера» (в действительности песня принадлежала поэту Дебро, но суть возражения от этого не меняется). Приводим одну строфу, где говорится о собрате нашего героя.

«Ты помнишь ли, как были мы в Париже,
Где наш казак иль полковой наш поп
Морочил вас, к винцу подсев поближе,
И ваших жен похваливал да ...?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи.....?»

Толоконный поп не был в этом вертепе разврата, пьянства и всех мыслимых и немыслимых грехов. В делах нравственных и семейных был он крепок и круг его жизни был ограничен его приходом и уездно-провинциальными событиями. Жизнь текла неспешно и довольно успешно в русле церковного поприща. Бедняком, нищим, барахтающимся на грани выживания «Христа ради», герой наш не был (поговорка о церковной мыши к его приходу не относилась). Скорее, его сред-

ний недостаток медленно поднимался к зажиточности, к высшему слою духовного сословия. В общем и целом, как и положено добротному типу, общественный обод жизнедеятельности попа не свисал, болтаясь ниже жирного, отвислого, громоздкого живота, но и не затягивался на приросшем к спине пупе так, что впору этот поясок было прилаживать к шее. Свобода — свой обод в сообществе, а не независимость вообще, универсальную отрицательность которой нужно еще как-то соединить с позитивностью утверждения ее носителя (откуда он взялся? Первое исключение во всеобщности независимости — это неизбежное тождество «я») в чем-то (следовательно, нужно быть «зависимым», связанным с тем, что вполне обходится без тебя и твоей доуки, выдаваемой за «венец» всего сущего (эка, хапнул!)?). Свой обод попа, живущего не то, что хлебом единым, но прежде всего и более всего, хлебом небесным, верой в Идею спасения от смерти и милости живым — это вполне ладный, достаточно просторный для исправного дела и осмысленной жизни обод измерялся длиной, окружно смыкавшейся на пупе. Свобода попа — дородность пупа. Бантик и кончики пояса говорили без слов, что животу не худо бы и прибавить за справу в хлебах небесных.

Вот за этим делом, в свободное от службы (видимо идущей своим чередом на всех устраивающем уровне) время мы и застаем героя.

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару.

Взыскать работника, одного вместо трех (бюджет не выдержит такой оравы ртов) и повара, и конюха, и плотника. На все руки служителя мастерового, да и одного не слишком дорогого. Где найти такого?

Кто рано на Руси встает, тому Бог все дает. По почти пустому еще, не совсем стряхнувшему дрему и зѣв базару навстречу попу Балда случился.

Кто же откликнулся на зов толоконного лба? Балда. Кульминация праздника — бал во всех его положительных, играющих в любом ладе «да». Годный и готовый ко всему светлomu на свете Божьем благодаря своим способностям и талантам Работник. Никаких трудов не боится, справляется с любым заданием играючи, посмеиваясь, всех подзадоривая и одаривая. Бал ладных да. Ба! Какая встреча! Какой умелец! Не жизнь — Баллада. Не заморская, а русским слогом сказанная, не Жуковского, а Пушкина! В Болдино по получению письма от невесты, согласной выдти за жениха без приданого, Поэт почувствовал себя Балдой и натворил бессмертной всячины.

Проверим, однако, по дружески, то бишь по Далю, что значит «балда». Среди значений (т. 1, с. 108) выделим нижегородские: лесная кривулина, толстое корневище, палица, дубина. Остальные также привечают признаки чего-то большого, тяжелого, увесистого, из орудий — молот, кувалда и топор, превосходящие нормальные образцы в указанном направлении. Из органов человеческих «балда» указывает прежде всего руки, кулак от 8 до 15 ф. В других областях «балду» не жалуют: дылда, болван, балбес, долговязый и неуклюжий дурень (Вологда); шалава, бестолковый (Рязань); дурак, тупица, маломумный (Кострома), сплетник, баламут.

У Пушкина, на мой взгляд, преобладает позитивное, поэтически завышенное в силу звучания, толкование «балды», соответствующее его настроению, вдохновению, радостным надеждам, приливу сил, оптимистическому порыву дней работы над сказкой. Насколько он учитывал другие значения, постараемся рассмотреть по ходу чтения. Конечно, 170 лет спустя мы имеем преимущества в опыте русской истории (если он освоен хотя бы в самых общих, наименее спорных чертах) и каждый вправе высказаться о том, почему и как «дубинушка сама пошла» и во что все это «уханье» вылилось.

Итак, Балда спозаранку «идет сам не знает куда». Играют в нем силы удалые, столь их накопил, что спать не дают, гонят молодца на их трату. Не знаю куда и зачем, но двигаюсь (не время покоиться), толчусь в месте людном, авось сгожусь кому в помощь, внесу лепту в дело доброе. Не бось, мы все осилим и славою сочтемся, а то и без нее, участием гордые в благом, без зависти, обид, без дотошных счетов разойдемся в как-нибудь раздельной жизни. Балда – России балка. Коль пристроен к делу. Великому – себе под рост, навырост? Коль нет – кривулина лесная, корневище, посох для дорог распутных (иль вовсе без дорог?) в стране столь долговязой, предлинно неотвязной?

По Пушкину Балда простодушен, на первый взгляд, до глупости доверчив. Так руки чешутся, так поет душа зарею ранней, что он готов на малые дела, на службу славную, усердную исправную обычному попу за плату очень скромную – вареную полбу и три шелка в год по лбу. Сошлись? Все вроде бы совпало с желанием попа, мошна не оскудеет, прибавится она. Балда в вопросах Веры лоб попа оберегать будет созданием условий для Хозяина служенья. Всего-то исключенье – три прикосновенья в год. Щелки не испытанье для Догматов, но толоконности плоти брэнной поверка. Вот задачка! Хлоп с кондачка на Истины знатока. В жизни, Горацио, много того есть, о чем и не подозревают мудрейшие мудрецы. Лучше б был я Эдип, растудыт Балду тудыт. И уж хочется как – невтерпеж, и во лбу толоконном впервые зудёж. Был бы Балда не во всем Балдою, я б навек поладил с тобою.

Призадумался поп
Стал себе почесывать лоб.
Щелк шелку ведь розь,
Да понадеялся он на русский авось.

Так решил без начал(ьства) сам поп «быть иль не быть» вековечный вопрос. Далекая плата не накладна, а дела на подворье заплесали ладно.

Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идет, и срок уж близенько.
Толоконный лоб в напряжении,
А у мысли ход лишь в проторенном русле
Векового движения.
Поп ни есть, ни пьет, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?»

Верна служителя веры жена, с бедолагою за едино лучшая его половина. По простому бы надо решить, по человечьи: земное Балде предложить. Приласкать, подружиться, хлебом — не полбой — делиться. Дочки развеять печали, где бы зятя такого еще они бы сыскали. Стал бы родным работник, принес бы прибыль. Расплата без платы, всем хорошо, все богаты. Да спесь отродясь глуповата: мужику отдать поповскую дочь лбам упертым, пупам распертым невмочь. Дальним мельком мысль подобная у попа не мелькнула. Духовная, пастве примерная чета погрузилась в счета избавленья от платы, пошла на союз с рогатым. Попадья размыслила тему по-поповски, но гибче, смелее.

Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.

В удалении бедства предложила она беспроигрышное вроде бы средство: заказать надо службу невмочь, а исполнения «сдирать» точь-в-точь.

Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду смелее.

Да все на белом свете работнику ладному вмочь.
Разве самые черти могут помочь? Вряд ли сладит Балда
с Сатанюю, а я лоб свой избавлю от ноя. Поп открыл
работнику верному глаза на успехи Веры в одном, от-
дельно взятом приходе под личным предстоянием дос-
тославного попа.

«Слушай: платить обязались черти
Мне оброк до самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы
Собери-ка ты с чертей оброк мне полный».

Все концы рассчитал поп. Выполнять пойдешь —
сгинешь, возражать, что богопротивно, невмочь или
просить особого обеда (сто грамм для храбрости) — тут
же отлынищика хватить: и уговор разорвать. Концы в воду:
дом полон годового приплода и умаслен лоб, избежав-
ший холопа трехразовый хлоп.

Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря;

Нет у Балды, как у всех других героев сказок вол-
шебных предметов, чудесных помощников, определя-
ющих и даже пред-определяющих успех невыполнимо-
го земными силами и средствами задания. Не плачет
он о своей несчастной судьбинушке никому, сам знает
куда идти и что делать, чтобы порататься с чертями.
Идет от прямешенько к берегу моря, к стихии свое-
вольной, кипучей, неукротимой, небесным молниям и
громом неподвластной? Садится на берег, оберег обе-
тованный, и запускает концы в воду, концы веревки и
начинает ей по-своему мутить и перемучивать стихию.

Что значит веревка? Откуда она взялась у Балды?
Сразу он пошел на дело, стало быть, на нем была ве-
ревка, скорее всего его поясок. Свой обод заветный,

свою свободу пускает Балда против чертей, перечерчивает их и без того постоянно перечерчиваемую («волна волну волной ломает» — Мандельштам) зыбь. Не ба-рышня ли его крестьянка одарила молодца веревочкой от кузовка, в который она сокровища лесные грибы-ягоды собирала? Не ее ли оберег делает удальца неуязвимым для нечисти на берегу их заводи?

Смотрим статью «Веревка» в 1 томе этнолингвистического словаря «Славянские древности». Ритуальные значения веревки вытекают из способа ее изготовления (витье, плетение) и жизненного пользования (повод для скотины, крепление для колокола): «Ритуальные функции, обряды и запреты, относящиеся к Веревке, достаточно разнородны и не составляют единого целого» (с. 338). Черти — копытные, дело, по которому к ним явился Балда, коммерческое, оброк, купля-продажа трехлетних недоимок. Веревка (наряду с уздой!), на которой скот вели на торг, необходима для того, чтобы «скотина прижилась и плодилась, чтобы вместе с ней привести в свое хозяйство прибыль и удачу» (там же). У сербов она считалась главой, за нее часто доплачивали, поляки делили ее на части между продавцом и покупателем... В разных славянских традициях не принято было передавать Веревку из рук в руки (т.е. «голой» рукой) (там же, с. 339). А уж с чертом оберег из них выпускать или делиться никак нельзя, сжатая в кулак ручища Балды не упустит символ удачного вития жизни и в борьбе с Лукавым.

Прочно привязана веревка к семантике свадьбы, упряжи суПружества, преграды (наряду с бревном, жердью, ниткой) и оберега магическим кругом, обеспечением неприкосновенности и безопасности находящегося в нем человека. Опоясывались по голому телу лентой, шнурком (на руке, шее) для предохранения от порчи жених и невеста, постель роженицы и ребенка, завязывали корове (там же).

Веревка обеспечивает «связь, прочность, цельность, прикрепленность к месту», что словлено в др. русских словах: вѣрвь «веревка» и «община». Крепость в добром обезвреживает нечистые, злые силы. «Считалось, что веревка, сплетенная из девяти лыковых полосок, пригодна для поимки водяного (пол.)» (т. 1, с. 339). 9 дня 9 месяца Поэт зачал вить замысел о наступлении на бесов, рой коих метелили его за день, за часы, минуты до получения Письма, благой вести от Невесты.

Много есть еще применений и запретов, относящихся к изготовлению и обращению с веревкой. Отметим, что волокна веревки ассоциируются со сплетенными в косу волосами. Веревка висельника приносит счастье, удачу в карточной игре (з.-укр.) и торговле водкой (бел., укр., пол.), делает человека неуловимым при воровстве и убийстве и в то же время она помогает отыскать злодея и еще много в чем без веревки не обойтись (там же, с. 340). В общем запастись ею надо обязательно всякому доброму человеку, а жениху особенно в день Трех королей 6 января (напомню Ларина Татьяна в вечер поздний дня того гадала). Куму новому 7 января, в день Ивана зимнего вручает прежний кум крест, обвитый базиликом и обвязанный веревкой, сученой из белых и красных ниток.

Непростая видать веревка была у крещеного, не давали ее концы покоя чертям беспокойным, ломали их привычный порядок, неотличимый от беспорядка.

Вот из моря вылез старый Бес:

«Зачем, ты, Балда, к нам залез?»

– Да вот веревкой хочу море м(рщить

Да вас, проклятое племя, корчить».

В потусторонности многие хотели внедрить свой устав, да не преуспели, только надорвались устав. Взгляда первого хватило умудренному Бесу, чтоб понять, с каким свело его ныне Балбесом, от правоты его нерушимой, играющей силы впал он в унылость. Не бесов-

ская хандра внутри неги любого искусства, а Беса хандра, удрученье гордыни в немилость тут приключилось. Человецам потеха, отродю великая помеха. Бес ласкательно просит, чуть ли не молит, обещаьем исполнить скоро и полно неволит. О годах своих юных тяжко жалеет, когда с Творцом яро спорил. Вся надежда на внука, самому-то — спокойная пенсия в море. Сдался без боя бес, в свой «деизм» влез. С гарантиями неприкосновенности от Балды.

— «Балдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Из неведомых глубин на ристалище биться
«Вынырнул подосланный бесенок,
Замяукал он, как голодный котенок:
«Здравствуй, Балда-мужичок;
Какой тебе надобно оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали».

Суть чертовской политики во все времена — монархические, либеральные, консервативные, демократические, коммунистические и т.д. и т.п. Чти внимательно: заискивающее мяуканье=отказ от обещаний (своих ли, предшественников, соседей ли) и... «Не дорого ценю я громкие права...».

И навстречу-то идет бесенок Балде, впрямь в лепешку готов разбиться, чтобы выправить положение «бедственное», ему доставшееся поневоле. А по воле — обоюдной, всем со всех сторон превыгодной — стремится навязать мужичку сиволапому договор, для себя беспроегрышный. В Беготне вокруг да около родной топи, заводи трясиной нет ухарю-бесенку равных, не было и не будет. Финишируем вскоре — едва для оброка приготовят мешок. Эка хитрость! Лоботряс, вечногодник вызвал у партнера смешок.

Засмеялся Балда лукаво:
«что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!

Подожди-ка ты моего меньшого брата».

К морю вскоре принес в мешке (без проволочек и мешок оказался у Балды в руках) из ближнего леска старший брат не братка, а братков – двух зайков. Показал бесенку, за уши держа, Балда одного зайку и заставил его плясать под дружную братскую балалайку.

«Ты, бесенок, еще молоденок,
Со мною тягаться слабенок;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка»
Пустились бесенок и зайка...

Пока скрылись спринтер и марафонец из вида, поглядим о значениях зайца в седых повериях славян. Заяц проживает во втором томе этнолингвистического словаря «Славянские древности», стр. 284-288. Народ наделил его мужской эротической символикой и демоническими свойствами. Прелесть бесов, сбитуя в ненасытности их страсти любовной, поэт решает перебалбесить с помощью заячьей прыти не менее эротической. Клин клином вышибают, а тут еще уловка – тайная удвоенность заек, то есть результат плодоношения как бы налицо, но и скрыт наполовину в мешке. «Котенок» сам не без мешка на уме, но замешкался с ним, да верил, что в нем шила не утаишь. А о зайках же и не подумал молоденький бесенок: «Я», его разум туго спелёнут.

Заяц – яркий образ мужской: в хороводе вьет венчик, целует девушек – опять переключка с героем «Барышни-крестьянки». Дальше – больше.: «На с.-рус. свадьбе подруги невесты просят у жениха выкупить у них фигурку зайца, представленного в трагестирован-

ном виде — украшенного предметами девичьего туалета (новгород., вологод., ярослав)» (с. 285). В «Домике в Коломне» усато-бородатый «заяц» обернется в служанку, в повестях Белкина героиня сохранит пол, но поменяет сословие, Кюхельбекер, сидящий в заточении, узнает друга в Татьяне Лариной (от Онегина же Александр Сергеевич отстранялся как мог). Кто любит не может быть не красив: «Кто кусочек мяса заячьево съест, будет красавцем» (Воронеж, ЖС 1906/3: 139)» (там же). Об эротической прыти зайца поведают читателям русских и украинских сказок обесчещенные лисицы и волчицы. «Ну, заяц, погоди!» А он, зная опять, ломает листья капусты — гляди на гряде грядущего детишек пруд пруди. Рус. и укр. Сонники XVIII-XIX вв. толкуют сны о зайце как предстоящую женитьбу, свадебный сговор, блудодействие или «грехъ зъ женою» (там же, м. 285). «В Винниц. обл. родственники невесты после брачной ночи приходят к молодым с чучелом Зайца на веревочке, подгоняя его хворостиной, как корову» (там же, с. 285).

«Для украшения каравая или отдельно из его теста пекут на свадьбе фигурки зайца (брест., гродн.). Часто песни о зайце приурочены к обряду печения каравая (харьков., брест.) или его дележа (калуж.). Зйчыкам называют сухие боковые выросты на печеном хлеб, называемые также шишкам) (полес.) Балка и заяц — шишки оба, кто из братьев сказу более дорог?

Что для русского хорошо, то немцу — смерть. А вот об яйцах зайца они толкуют одинаково, нашли консенсус. «Бытующее у немцев представление о том, что на Пасху заяц откладывает крашеные яйца, получило распространение у славян на западе...» (там же, с. 286). Процесс пошел...

И шел бы быстрее и успешней, если бы не демонические свойства зайца, его связь с нечистой силой. Как и остальное зверье лесное, заяц — скот лесных духов. Леший их гоняет и угоняет, проигрывает в карты. Зато,

как подчиненный лесному Хозяину, заяц неподвластен водяному, поэтому рыбаки не упоминают во время промысла зайца (там же, с. 286). Лес прирос к суше, Балда борется с чертями, с их непослушным своеволием, с невыплатой оброка на своей территории, причем прочной, континентальной, а не на утлом челне, тем более не в плавь да еще и в бурю.

Косой подобен перекошенному одновременно гордыней и подбострастием Бесу, который часто скачет на первом. «Заяц-оборотень бросается под ноги, перебегаёт дорогу... грозит охотнику лапой [Евгений из «Медного всадника»]... убитый внезапно оживает, его пули не берут...» (там же, с. 286).

Причастность к миру духов зайца не только опасна и вредна для человека, но и способна оберегать его от демонических сил, отвращать злых духов, что нашло отражение в имени зайца — *чертогон* (там же, с. 286).

Зай и огонь, и зайце-хлопья снега, связан с обликом душ умерших, и с луной (там же, с. 186, 287).

Косые заячьи глаза оказывают магическое влияние на людей. Чуть косила рыжая мадонна Александра Сергеевича, Лев Толстой придал эту особенность героине «Воскресения». Зато и спит заяц, по повериям славян, с глазами открытыми, чутко, легко, кратко (без похмелья тяжкого, еле-долго пробудного) (с. 287, 288).

Встреча с зайцем, перебежавшим дорогу, сулит путнику несчастье. Так славяне считают повсеместно. Пушкин, несмотря на африканские черты и темперамент, был славянин. Как встречал зайца, так ждал, чтобы кто-нибудь другой — не видевший вестника несчастья — перешел через эту дорогу; если же ожидать подмоги было неоткуда, приходилось вернуться с пути назад, домой. Других способов — трижды перекувырнуться на том месте, перекреститься, крестообразно ударить плетью и т.д. (с. 287) — поэт не знал, либо не верил в их дей-

ственность. Вот уж и в эту болдинскую осень приглашенный соседями к праздничному обеду Пушкин опоздал из-за зайца.

Что обед. Почти пять лет назад не доехал Поэт к друзьям своим, готовившимся выдти на Сенатскую площадь. Если б не заяц и повис бы шестым, на виселице в Петропавловской крепости и лежал бы в неозначенной могиле общей на Голодае. Шутка заячья спасла шута. Почему шутком себя именовал поэт в раздумьях скорби? Попав на собрание декабристов пред самым выступлением, он высказал бы друзьям свое, вызревшее в ссылках мнение о ходе и исходе истории, бунтов и восстаний. Таков долг шута: правда в глаза. Другим, товарищам... Это несогласье намертво его б связало с делом заблуждавшихся, благородных, совестливых дворян. Еще пять лет назад, в 1820 он пылко, юношески верил, что всходит — вот уже видна — заря свободы, счастья и любви. Когда его оклеветали, когда его сослали, разве не сгорал он в муках, что в ряд литой не встали други, знакомцы удалые, все поборники благого Просвещения, чтобы спасти певца Свободы решительным наступлением на мракобесие и ложь власть предержавших (не Закона)? Да умолили, упросили Венценосца: не Соловки, а юг, не ссылка — служба. Как тогда ему поддержки не хватало, как достигнутого — компромисса ложного в истолковании черни светской — смертельно было мало. Ныне заговорщики неправы, их он не оставит. Выстрадавшая в ссылках правда резанет по мнению большинства. Поэт сыграет роль шута и завтра первый бросится на штурм: чем безрассуднее, тем лучше, смерть ища в бою неправо-правом. Стрелял Вильгельм! Брат поэтический — лицейский, за оружие взялся, к делу перешел, когда бойцы и офицеры, увенчанные славой побед над Наполеоном стояли. Средь вос-стоявших Пушкин бы беспрестанно громыхал. Сохрани его в тот день картечь... как шут. Да не нашлось бы у мудрейшего Царя для по-

милования Ариона аргументов самых малы. Кому б счастлива веревка повешенного Пушкина была? Неведомая сила одиннадцатью годами с хвостиком нас одарила.

Где зайцу памятник Россия? Ну, да, ну, да – все нет еще дорог¹.

У самого Поэта рана не зажила, не заживала. Заяц – трус. Пусть суеверье нежданно помогло ему творчески цвести так пышно и вечности создать плоды живые, честь жгла, прощенья не давала, загоняла в «пятый» угол. Что праздничный пирог, что милые соседки о свадьбе Лариной с Онегиным судящие-рядящие и так и этак. Он сам говорил, что в том декабре по-заячьи метался и дрожал... Кровь труса обнаружилась у бывшего забияки тогда, когда решалась судьба друзей, их поколения, России?.. На Отечественную по малолетству опоздал (в отличие от Онегина Евгения), а до Сенатской из-за зайца не доехал... Иль это подствист суеверью черни светской, чтоб до обета исполненья не обнажать кинжала?

Было еще одно – роковое – предсказанье: о преждевременной смерти из-за жены иль белой головы. Решив жениться, Пушкин бросал вызов Судьбе. Она его отталкивала от семейной жизни неудачами в сватовстве, но подначивала крупными проигрышами в карты. Не везло в увенчанной любви, не везло в игре азартной, зато Судьба хранила Поэта в военных стычках, в кои он бросался, очертя голову. Рано, рано, как бы говорила Неведомая сила, еще не свершено то, для чего ты призван на бел свет, на Русь святую и грешную. Русь, богатую больше всего своими несравненными красавицами. Они примечали своего певца, иные любили его, к иным он сватался... Четыре с лишним года безрезультатно: чаще просто получал отказ, а то его любили (кажется, больше, чем сам он был влюблен), готова вроде была Катенька Ушакова стать его суже-

¹ Поставили.

ной, да, говорят, сорвалась в последний момент и эта верная свадьба. Из-за верности, из-за нежелания де-вушки оказаться виноватой в гибели (возможной!) лю-бимого человека. Пусть лучше поэтический гений Рос-сии живет? Так и останется Дон Жуаном – вот его ру-кой вписанный в альбом длинный список влюбленностей и побед. Правда, среди огорчений Анна Оленина. И в битве за простую человеческую – семей-ную – благодать Поэт решается штурмовать совершен-но непреступный – зато поистине божественный – Карс. В гоне чар поэт надеется добиться успеха. В этом пос-леднем, отчаянном, трехлетнем приступе ни на жизнь, а на смерть. Он видит редчайший сорт «глины», из коей можно и должно создать амфору, достойную наполне-ния божественным нектаром. Только эта мечта, его полностью очаровавшая, привязывает его к жизни, поз-воляет творчески дышать. Сколько раз он «бесславно» отступал от Карса, бежал прочь, себя не помня? Как глубоко проклинал себя за веру в то, что создан для счастья? Сколько раз дело висело непонятно на чем над бездной разрыва? И вот – письмо, 9/9, флаг белый над крепостью неприступной, фата...

И я бы мог, как шут, а тут я нынче фат. Моргнула фатой Фата-Моргана. Закрепить, скорее, надо фарт. В деньгах измерить разве можно золото косящей чуть Заиньки. Денег, денег, денег много, много, много надо... Яснее ясного, что в картах никогда не повезет (пиковая дама подведет). Что ж остается делать? Писать, писать, писать... Геройствовать там, где обладаешь абсолютным слухом, то есть ушами пребольшими, заячьими...

И боязливостью природной? «Боязливость зайца объясняют тем, что у него маленькое сердце. Бог выле-пил ему слишком длинные уши, а на сердце глины не хватило. Тогда Бог оторвал ему хвост, оставив лишь короткий отросток, и сделал маленькое сердце (гомел)» (т. 2, с 288). Не во всем прав народ в преданьях: сердце Поэта – огромно, чутко, благородно. Да если зайца заг-

нать в «угол», он вдруг становится отчаянным храбрым. То Судьба била его так, что едва успевал скакать с кочки на кочку, зато на черте жизни и смерти заяц сам бьет в барабаны Судьбы и косит трин-траву. Возвращение назад не остановит Пушкина на дороге к дуэли смертельной. Честь не рябшлива, преступает гордо чрез выводок примет многоголосый.

Поэт держал зайчика за уши, поэт перебалбесить решил бесов – двойничество двойняшками. Одного из меньших братьев пустил наперегонки с полоумным бесенком; он не подвел: по-спринтерски кинулся в ближний лесок, утек в родную глушь из граничной зоны между Морем и Сушей. А второго близняшку вынул из мешка, чтобы встретить запыхавшегося, великое море зазря обогнувшего чертенка. Что было, то прошло, но и не забудется, отзовется вечным призывом милости падшим. Зато второй зайчонок послужит одолению бесовства, в том числе и в страстях эротических.

«Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок задыхаясь,
Весь мокрешенек, лапкой утираясь,
Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь – а Балда братца гладит,
приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! Отдохни родимый».
Бесенок оторопел, (уподобился черный зайке)
Хвостик поджал, совсем присмирел,
На братца поглядывает боком.
Подкошенный к делу пошел за obroком.
Пока Старый средь беды думал думу,
Балда веревкой наделал такого шуму
Что все море смутилось
И волнами как и расходилось».

Выходит веревка тот же хвост? Федот, да не тот: «хвост», который ни к чему не прирос, зато крепится к чему хошь. Что «коса» обнимет, то и свяжет, скрутит,

намертво завяжет. Удобно другого веревкой водить за нос. И сильнее она Зевеса: воду бережит и мутит омут Беса в кулаке у Балды туды да сюды, туды за сюды...

Схватились хромые за палку, последнюю выручалку. Да Балда пригрозил: вместо меты далекой метой высокой, затучной:

Зашвырну туда твою палку,

Да начну с вами, чертями, свалку.

Не вывихнул дальнометанием Балда свои «ручки», палкой «без», зацепившейся в тучке, дал бы безоружным чертям хорошую, добрую взбучку. Вторая победа.

А Балда над морем опять шумит

Да чертям веревкой грозит

Снова сопротивляется цепкий, упорный чертенок. В третий раз сам Балда задает враженку задачу. Что же это значит? Наверное, первые две были в поле нечистого зренья, по силам им, по уменью; к полной сдаче в них не ведет одной из сторон поражение. А вот лошадь есть за-чертовская сила, коли послушна к ней обращенной воле.

«Конь, кобыла, лошадь — в народной традиции одно из наиболее мифологизированных животных. Как главное транспортное и тягловое (в лесной зоне) животное воплощал связи с миром сверхъестественного, «тем светом», был атрибутом мифологических (этических) персонажей, связан одновременно с культом плодородия, смертью и погребальным культом» (т. 2, с. 590). Связь коня с «тем светом» и знанием судьбы, в том числе смерти хозяина, определяет его роль в гаданиях — фольклорный мотив вещего коня. Сивая масть и ржание к добру, топанье ногой — к дороге, начало хода с правой ноги — к удаче и т.д. (там же, с. 501, 502).

По общеславянской традиции в коне (конском черепе) воплощены хтонические силы и смерть. В Хорватии предводителя змей именуют конский змей. Вьется в движении грива и хвост, змеится, бежит, скачет, ле-

тит огромная, грозная сила, единая с кончиков ушей до кончика хвоста (ноги слились в вихревой «ползучести»). Неукротимость коня говорит о его нечистом происхождении, например, Бог превратил в лошадь черта, который мешал человеку боронить (укр.)» (с. 593).

Всадник на коне – единая сила: герой, святой и животное белой (золотой) масти как нераздельное целое борются и поражают змея копьем и копытами. «На море Киане, на острове Буяне, на бел-горюч камне Алатыре, на Храбром коне сидит Егорий Победоносец, Михаил Архангел, Илия Пророк, Николай Чудотворец, побеждают змея любого огненного» – так обстоит дело в русском заговоре (там же, с. 591).

А вот испытанье вражьей силы Балдой:

«Видишь: там сивая кобыла?

Кобылу подыми-тка ты,

Да неси ее полверсты;

Снесешь кобылу, оброк уж твой;

Не снесешь кобылы, ан будет он мой»

Бес был дюж, да по бестолковости всё не муж (ср. поп, толоконный лоб). Хтонический, он хронически тужился и пружился из-под тишка, да кишка оказалась тонка сладить с кобылкою сивою, грациозною, милою.

Бедненький бес

Под кобылу подлез,

Понатужился,

Понапружился,

Приподнял кобылу, два шага шагнул.

На третьем упал, ножки протянул.

А Балда ему: «Глупый ты бес,

Куда ж ты за нами полез?

И руками-то снести не мог,

А я, смотри, снесу промеж ног»

Пока Балда скачет версту (в два раза больше заданного) на кобылке верхом, я сквозь пыль столбом вспомнил кой о чем. Первое – виденье. Голова принца Дат-

ского на коленях Офелии во время театрального представления. В «мышеловке» обычно превозносят театр в театре, но упускают из вида третью степень ее театральности — публичное единение без венчания, внецерковное, языческое Гамлета с Офелией. Голова принца «промеж ног» девицы означает, что бедняжка уже не невеста, но еще не жена. Зато мать сына, явившегося «из чрева» ее, как у бесплодной Рахили. Таким образом, в мышеловке спрятано усыновление принца его приемно-родной матерью-девственницей, которой, напомним, он советовал идти в монастырь. Без этой детали в дальнейшем ходе трагедии много пробелов, неувязок и недопустимых вещей, например, Полоний только как близкий родственник мог иметь возможность затаиться в покоях Гертруды. Гамлет, забывший в смятении открытия виновника гибели отца, о состоявшейся женитьбе или, скорее, не знающий в свете «естественного разума», что его непроизвольная импровизация в театре обручила его с Офелией по древним обычаям, без малейшего сомнения полагает, что убивает через занавес в комнате матери дядю, убийцу отца, узурпатора трона и королевы, кровосмесителя.

Второе — размышление. Прикидочное, беглое. Не есть ли различие между деланием руками, рукобитием, с одной стороны, и руководством, ведением на поводке, неподвижным сидением «на» и «над» на подвижной силе и ее направлением с помощью «узды» (поводка, закинутого ведомому за его голову) — с другой, не есть ли это различие стартовое основание для разграничения собственно «связей» и «отношений». В от-но-шениях носитель от-странен от событий процесса и как бы пассивен, более наблюдает страсти и лишь «водит» руками за «веревку» то, что/кто активно расходует свои силы не только в своих интересах, но и сверх их, то есть, целого, то бишь включая седока. Причем у всад-

ника освобождение рук для водства напрягает тело, заставляет принять непривычно мужскую позу. Тайна и секрет в том, что напрягается у бюрократа и для чего?

Испугались черти третьей подряд победы, отдали полный оброк, на Балду взвалили изобилия мешок.

Идет Балда, побрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью (советчицу хитрую, ушлую) прячется,
Со страху корячится.

Поздно делиться, время платиться: прыгать не зайкой, не кобылкой сивой до потолка, лишаться языка — с чем останется приход, кто идею, веру массам понесет? Новина, не старина — ум повышибло изо лба.

Да, на лбу чужом, трижды толоконном, в рай не въехать, как и туда не попасть на горбу другого, не своими руками птицу-жар не загрести. Слышишь ли героя своего, Отчизна? Приговаривает Балда с укоризной: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Это все сказки, полны добра, мира, любви да ласки. Жизнь прозаичная штука, все проза да мука. Разве у Автора осенью той же настрой боевой не терялся, более он не спотыкался?

Право, сказка — ложь. Но в ней намек, развлеченье детям, да молодцам урок. Чтобы мед на жизненном пиру не расхлестался по усам, думай, чувствуй, делай и учись, конечно, сам. В зеркальце по пристальной смотрись — всех не будет «я» милее, и красивей, и добрее, и умней за просто так. Про себя молчит Дурак и мечтает стать Балдою... Расстанемся тут с тобою...

Что случилось с героем? Сказку дописав, Александр Сергеевич закрестил в себе бесовство и закрепил победы клином даты: 13 октября, суббота. Предвоскрешение, преображенья пред. И Самсону Вырину в его заботах беспокойных о доме дочери помог: перечеркнул 13 и поставил 14. Воскресенье.

Дале? Нет, нет, святым с Кобылкой сивой Он не стал, хоть постоянно сам в себе с чертами разной масти, с Бесом воевал. «В в.-слав. легендах лошадь противопоставлена волу, как чистому животному, укрывавшему сеном младенца Христа, в то время как лошадь поедала сено (поэтому лошадь никогда не может наестся, укр.)» (т. 2, с. 593). Грех гнался, как Поэт признался, неотступно по его пятам. Но не напрасно – все бы так! – стремился он к Сионским высот(м).

Пора, мой друг, пора... Какая? Осень. Поздняя. И поздно. Снег, большой, пушистый, мягкий. Кружится тихо, плавно, медленно. Снежинка каждая – гирлянда древа жизни. Долго меж небом и землей светится. Ложится и уютится общим покровом. Белым-бело. Раздолье. Поле чисто. Лист нечерченный бумаги. Тысячелетие свежо. Россия...

На линии судьбы моей ладони

Гадание снежинка тает...

НА ПОРОГЕ

Задерживаться не люблю. Сейчас откликнулся на «посошок» двумя поклонами. Спасибо Пушкину всей душой. Что жил, что после смерти живо в ненастье помогал, отчаянье мое уносил «эгоистично», а радостью одаривал сторицей. Спасибо всем, кто читал сие переживанье. Извините, что подробно и указательно «жевал» дорогие камни пушкинской речи...Я таких сокровищ у Поэта и от себя учительства совсем не ожидал, когда страничек несколько о рыбаке и рыбке хотел поведать. Невод растянулся, в нем для меня косяк за косяком находок. Всех рыбок отпускаю нереститься. Да что я, Вы лучше знаете меня и то, и это. Все ж не напрасен скромный труд. Хотя бы как напоминанье, что 30-40 лет всего осталось, чтобы по-пушкински Россия расцвела. Опять зашлась гоголем мечта, простите. И прощайте.

– Ну, погоди! Быть может есть стихи с изюминкой для Колобка, которого наскреб ты, как старуха, по своим сусекам небогатым?

Извольте. В начале января 1999 года о Пушкине читал я и 5-6 родились строк, в коих предсказанье осени минувшей можно ныне различить. Поверьте, о книге я тогда не помышлял, сочувственно я о Поэте думал.

А.С.Пушкину

я явлен Вам
как радостная вечность,
Взлёт молний жизни
в лучезарность сил
И в благе вознесенья
в бесконечность
Былинки трепет каждой
я любил.
Я Ваш,
я явлен Вами
И в нас
единственная Быль.

Оглавление

СКАЗКА ДЕТСТВА	3
ПРОПАСТИ ЧИСТОЙ ВЫСОТЫ	28
ПРАЩА ЛЮБВИ	60
ПРОЩЕНИЯ	129
ДЕВЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ	139
ГЕРОЙ ХОТЬ КУДА	154
НА ПОРОГЕ	177

Научное издание

ПЕРЕВАЛОВ Валерий Павлович

Тайны очевидности и удивления дары

*Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН*

В авторской редакции

Художник *В.К.Кузнецов*

Технический редактор *А.В.Сафонова*

Корректоры

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 00.00.00.

Формат 70x100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 5,6. Уч.-изд. л. 8,00. Тираж 500 экз. Заказ № 000.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор: *Ю.А.Аношина*

Компьютерная верстка: *Ю.А.Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119992, Москва, Волхонка, 14